

ПЁТР ТКАЧЕНКО

РУССКИЙ ПОЭТ СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ

1

Видимо, есть некая незримая закономерность в том, что теперь, когда русская литература вытеснена из общественного сознания и, по сути, упразднена, нам припоминаются те или иные имена писателей. И особенно — относительно недавнего прошлого, советского периода истории, послевоенного времени, когда русская литературная традиция после революционного погрома начала миновавшего века, наконец-то, не без потерь, но была всё-таки восстановлена. Когда литература уже перестала всецело полагаться марксистской идеологической догматикой и с трудом возвратилась к народному самосознанию, к духу человеческому и народному.

Закономерность эта проявляется и в том, какие именно писатели нам теперь припоминаются, творчество которых как бы вдруг, всплывая из небытия, становится особенно необходимым. По всей видимости, в первую очередь, те, поэтический мир которых в своё время остался недостаточно уяснённым, а теперь многое может рассказать нам как о нашем прошлом, так и о происходящем ныне, о нашем духовном, мировоззренческом состоянии и положении. Подлинная поэзия оживает в следующих поколениях и своими прежними смыслами, и новыми значениями, с учётом вновь обрётённого нами опыта.

Вовсе не случайно, а по этой самой незримой закономерности нам теперь не просто припоминается имя выдающегося русского поэта советского периода истории нашей страны Ярослава Васильевича Смелякова (1912 (13)—1972), но пред нами предстаёт его поэтический мир во всей его глубине и величии. И что примечательно, сначала возникла потребность возвратиться к его творчеству, а потом уже вспомнилось, что приближается столетие со дня рождения поэта и сорок лет со дня его кончины.

Читать стихи Ярослава Смелякова я начал с юности, с его последних книг “День России” и “Декабрь”. До этого я знал его разве что по популярной в то время в литературных кругах песне “Если я заболел, к врачам обращаться не стану...”. То есть перипетии его необычной, поистине драматической судьбы тогда мне были неведомы. Но меня поражали в его стихах точность определения явлений природы и общественной жизни и характеристики людей, исторических личностей, к которым он постоянно обращался.

Представляли же официально творчество Ярослава Смелякова обычно как исполненное романтики комсомольской юности, сосредоточенное на темах

труда, преемственности поколений, сочетании лирической патетики с разговорными интонациями... Впрочем, это было привычное обыкновение – в аннотациях к книгам или в справочных изданиях давать самые общие, обтекаемые характеристики и поэтам, и их творчеству.

Каково же было моё удивление, когда со временем я познакомился с трудной судьбой Ярослава Смелякова. Меня поразило несоответствие устойчивой уже к тому времени характеристики поэта и того, что ему в действительности довелось пережить. Конечно, эпоха была трудной и трагической, и прошлась своей тяжкой поступью почти по каждой человеческой судьбе, но Ярославу Смелякову она принесла испытаний сверх всякой меры:

*Мир был разъят и обещен,
Земля крутилась тяжело.
Ах, сколько их, тех самых трещин,
По сердцу самому прошло.*

*Оно ещё живёт покуда
И переваривает быт,
Но, словно с трещиной посуда,
Весёлым звоном не звенит.*

Вот так певец революционности и “комсомольской романтики”! “Мир был разъят и обещен...”. Прямо-таки противоположно революционной догматике о сотворении “нового мира”...

С первых шагов на литературном поприще он попадает в жесточайший идеологический переплёт. В 1932 году Ярослав Смеляков выпустил сразу две книги: “Стихи” и “Работа и любовь”, – которые стали поводом резкой полемики в литературных кругах. Молодого талантливого поэта обвиняли в *недостаточно чётком пролетарском мировоззрении*. Обвинение по тем временам грозное. И небезопасное для поэта, судя по трагическим судьбам многих и многих молодых русских писателей.

В 1934 году М. Горький выступил с резкой статьёй в “Правде”, “Известиях” и “Литературной газете” – “Литературные забавы”, в которой, по сути, вынес приговор талантливому поэту Павлу Васильеву, назвав его “врагом”. А заодно упрекал Ярослава Смелякова в том, что он поддаётся его влиянию: “На характеристике молодого поэта Яр. Смелякова всё более и более отражаются личные качества Павла Васильева. Нет ничего грязнее этого осколка буржуазно-литературной богемы. Политически ...это враг”.

На первом съезде советских писателей, состоявшемся в августе 1934 года, А. Безыменский вослед за “великим пролетарским писателем”, в своей “митинговой речи” (по определению И. Сельвинского) выносит, по сути, политический приговор и Павлу Васильеву, и Ярославу Смелякову, а заодно – и Николаю Заболоцкому: “И Заболоцкий и Васильев не безнадёжны. Перевоспитывающая мощь социализма беспредельна. Но не говорить совершенно о Заболоцком и ограничиться почтительным упованием и восхищением талантливостью и “нутром” Васильева невозможно.

Тем более это невозможно, что влияние Заболоцкого сказывается и на творчестве Смелякова и даже в некоторых стихах такого замечательного и родного нам поэта, как Прокофьев. Не потому я обязательно говорил бы о Смелякове, что боялся бы пропустить одно имя в списке поэтов, а потому, что Смеляков представляет серьёзное поэтическое явление, выражая то поколение, которое не знало гнёта царизма. Он подвергается не только влиянию богемно-хулиганского образа жизни, образцы которого даёт П. Васильев и которые так мощно заклеены в замечательной статье Горького “О литературных забавах” (“от хулиганства до фашизма расстояние, короче воробьиного носа”), но и вредным творческим влиянием” (“Первый всесоюзный съезд советских писателей 1934”. Стенографический отчёт. М., 1934). При этом надо полагать, что сам А. Безыменский мощью социализма уже был “перевоспитан”.

А 22 декабря Ярослава Смелякова, так и “не перевоспитавшегося беспредельной мощью социализма”, арестовывают. При обыске у него была изъята книга Гитлера “Моя борьба” на русском языке, изданная небольшим тиражом и выдаваемая для ознакомления только особо доверенным людям по списку, утверждённому ЦК ВКП(б).

Обвиняли Ярослава Смелякова в антисоветских разговорах, антиобщественном поведении, моральном разложении. На следствии с юношеской прямотой и бесстрашием он говорил о том, что “Горький не любит советской поэзии, его творчество выдохлось, он является пугалом для талантов... Человек не может подгонять своё творчество всегда под радость, человек имеет право отражать в своём творчестве не только схему, навязанную ему, но имеет право на творчество слёз, а нас заставляют писать о машинах, газгольдерах, когда хочется писать о слезах...”.

Эта трагическая страница биографии молодого поэта Ярослава Смелякова убедительно свидетельствует о том, как следовали талантливые писатели догматике “социалистического реализма”. Ей следовали только бездарные поэты и писатели – Безыменские и прочие. Да ещё те, кто создавал в литературной среде не просто атмосферу скандала, но выносил политические обвинения, которые, по суровости тех лет, могли стать причиной физического уничтожения поэта. И частенько становились...

Ярослава Смелякова 4 марта 1935 года особое совещание “за участие в контрреволюционной группе” приговорило к трём годам исправительно-трудовых лагерей. Как видим, уже не антиобщественное поведение и моральное разложение вменяется ему в вину в приговоре, а *контрреволюционная деятельность*. А это было более чем суровым обвинением.

После выхода на свободу, с началом Великой Отечественной войны поэт был призван в армию и направлен в Карелию. Через несколько месяцев он оказался в финском плену, длившемся для него с 1941 по 1944 год...

В третий раз Ярослав Смеляков попал в тюрьму в 1951 году, поскольку стали якобы известны какие-то подробности его “недостойного поведения” в плену. За такое обвинение ему грозила высшая мера наказания.

Ярослав Смеляков, в отличие от своих репрессированных сотоварищей – Бориса Корнилова и Павла Васильева, – остался в живых, можно сказать, случайно. Жена поэта Павла Шубина Г. Аграновская вспоминала: “Самое страшное было то, что смертная казнь ещё не была отменена, а какой срок уготовят Ярославу, не знал и Господь Бог. Спустя пять лет, когда вернулся Смеляков, вот он мне что рассказал: “Жизнью я обязан следователю. (Он и фамилию называл, а я за давностью запамятовала.) Я сиделец опытный, вижу – тянет и тянет. Последнее время и на допросы вызывать почти перестал. Спрашиваю: что волыните? А он мне говорит, что, мол, на том свете побывать успеете, куда торопиться... Видно, знал он, что “вышку” должны отменить, а я тянул на эту меру...”. И получил Ярослав Смеляков свой срок – 25 лет лагерей – вскоре после отмены смертной казни” (“Вопросы литературы”, сентябрь-октябрь, 1991). И только в 1955 году он вышел на свободу.

О том, что третий арест для Ярослава Смелякова мог бы действительно закончиться трагически, свидетельствует и его стихотворение “Письмо в районный город”, представляющее собой поэтический ответ на письмо Т. М. Корниловой, матери репрессированного поэта Бориса Корнилова. Стихотворение любопытное, написанное с некой раздражительной болью:

*...Получил письмо я от старушки
И теперь не знаю, как мне быть:
Может быть,
 пальнуть из главной пушки
Или заседанья отменить?
Не могу проникнуть в эту тайну,
Не владею почерком своим.
Как мне объяснить ей,
 что случайно
Мы местами обменялись с ним?
Поменялись как, не знаем сами,
Виноватить в этом нас нельзя —
Так же,
 как нательными крестами
Пьяные меняются друзья.
Он бы стал сейчас лауреатом,
Я б лежал в могиле
 без наград.*

*Я-то перед ним не виноватый,
Он-то предо мной не виноват.*

Хорош же певец комсомольской романтики и рабочей темы, вся молодость которого прошла, по сути, на нарах... Между тем, Ярослав Смеляков в общественном сознании представлялся нам эдаким насквозь советским поэтом, воспевающим социалистическую систему. И это теперь якобы даёт нам право уничтожать и “развенчивать” его с точки зрения идеологической догматики и в полном согласии с новой революционной “демократической” идеологией...

Кстати, что имел в виду поэт под “главной пушкой”, из которой, вроде бы, можно было “пальнуть”? Высказать, так сказать, всю “правду-матку”, со всей диссидентской упрощённостью? Но к ней он никогда не прибегал.

У нас появилось уже целое поколение литераторов, которое судит как о предшественниках своих, так и друг о друге не по текстам, не по книгам, а по неким мнениям, неизвестно на чём основанным, – то ли на внешних впечатлениях, то ли на слухах. Не подлежащие сомнению, ввиду их очевидности, литературные факты для таких “литераторов” ничего не значат. Так, В. Огрызко пишет о последних годах Ярослава Смелякова следующее: “В последние годы жизни Смеляков как поэт, мне кажется, сломался. Да, к нему пришло официальное признание. В 1967 году он за книгу “День России” получил Государственную премию, которая по иронии судьбы носила имя одного из первых его гонителей – Максима Горького. Спустя год ему вдогонку дослали за очень слабую поэму “Молодые люди” ещё и премию Ленинского комсомола. Поэта стали в качестве свадебного генерала приглашать почти на все правительственные мероприятия. Но град наград никак не повлиял на уровень мастерства” (“Литературная Россия”, № 11, 2007). Видимо, редактор литературного еженедельника “Литературная Россия” столь был занят несуществующей интригой, вынесенной в заголовок – “Соперник Твардовского: Ярослав Смеляков”, – что Александра Трифоновича Твардовского называет Александром Трифоновым... Понятно, что это – небрежность. Но только она очень уж характерна для данного литературного издания, да и для автора...

В то время как в творчестве Ярослава Смелякова проявилась иная, прямо противоположная закономерность. В творчестве истинных поэтов бывает так, что к концу творческого пути их поэзия открывается новой глубиной, новым духовным зрением. И они создают в этот период, может быть, главные произведения всей своей жизни. Так произошло и с Ярославом Смеляковым, о чём свидетельствует и книга “День России”, и особенно последняя его книга – “Декабрь” (М., “Советский писатель”, 1970).

Тут скорее поверишь Владимиру Цыбину, знавшему хорошо и поэта, и его творчество: “Мне было ясно, что второе дыхание, что так называемая вторая молодость проявляются обыкновенно у финиша. Так было и у В. Луговского с его “Серединной века”, и у А. Твардовского с его “пейзажно-философскими” стихами, так было и с “Декабрём” Ярослава Смелякова. В этом прощальном обилии мобилизуются все творческие ресурсы. Природа торопится реализовать себя. Даже в этой книге Ярослав Смеляков не позволил себе расслабиться. В ней есть всё – и боль, и горечь. Нет только чувства увядания, стихов “ни о чём” (“День поэзии”. М., “Советский писатель”, 1980).

Комсомольская поэма “Молодые люди” (М., “Молодая гвардия”, 1968) поэмой вовсе не является. Это цикл стихотворений, чисто издательским приёмом соединённых в книгу, видимо, в связи с 50-летием комсомола. И уже только поэтому эта книжица “очень слабой поэмой” быть не может.

Никакого “воспевания” комсомола в ней нет. Скорее – укор ему и ирония:

*Я юность прожил в комсомоле,
Средь напряжённой прямоты.
Мы всюду шли по доброй воле,
Но без особой доброты.*

И уж никак нельзя назвать “воспеванием” комсомола строчки, перефразирующие известные стихи Сергея Есенина:

*Я сам, оставив эти долы,
Как отоснившиеся сны,
Здрав штаны, за комсомолом
Бежал по улицам страны.*

Как видим, редактором “Литературной России” предпринята попытка *переоценки* поэзии Ярослава Смелякова. Уничжительная и абсолютно не соответствующая действительности. Никакого “слома”, никакого понижения мастерства в последние годы в творчестве Ярослава Смелякова не было. По логике В. Огрызко получается так, что это “официальная критика” врала нам о том, что Ярослав Смеляков – большой поэт. Да и его “моральный облик” она же приукрасила. На самом же деле он был вовсе не таким, о чём и решил поведать нам представитель неофициальной критики, надо полагать, *критики настоящей*. Перед нами – ещё одно сбрасывание с “корабля современности”. Разве что имеющее иную мотивацию, нежели в начале XX века, но оттого не более справедливое.

Русское и советское в поэтическом мире Ярослава Смелякова не противопоставлены альтернативно друг другу, а находятся в преемственной связи. Советское – продолжение русского, но не подменяющее и не отрицающее его. Какой всё-таки сложной и тонкой была общая идеологическая картина в Советском Союзе, в России! Во всяком случае, в послевоенный период. Но теперь-то, двадцать лет спустя после “демократической” революции, мы можем и должны признаться самим себе, что практически выходило из такого противопоставления русского и советского: исподволь насаждалась идеология нового революционного анархизма, а вовсе не “освобождения от коммунизма”. Ведь таким противопоставлением, признанием XX века “тупиковым” и якобы не принадлежащим “исторической России” этот самый, пожалуй, сложный и трудный век вообще вычеркивался из истории страны, образуя лауну в исторической преемственности, которая могла стать основой революционного беззакония.

Ведь эта убийственная формула – целили в коммунизм, а попали в Россию – свидетельствует только о том, что мы так и не разобрались, кто куда целил, потому что в образованной части общества оказалось слишком мало людей, понимавших эту взаимосвязь. Повторюсь: эта формула свидетельствует о том, как ни печально в этом сознаваться, что нас просто *переиграли* интеллектуально, подсунув губительные и ядовитые идеи, которые были приняты большинством людей без анализа их сути и последствий их преобладания на идеологическом поле страны. Так создавалась идеология нового революционного разорения страны – в форме такого соблазнительного якобы *преодоления былых несправедливостей*, которые в значительной степени к тому времени были уже преодолены.

И самое печальное состоит в том, что такое противопоставление русского и советского долгое время почиталось чуть ли не вершиной патриотизма. Но какими же упрощёнными, примитивными, интеллектуально несостоятельными предстают подобные идеи теперь, на развалинах нашей жизни...

Убедительно обосновать исторически и метафизически, а не только отвлечённо-идеологически советский период истории это поколение образованных людей оказалось не в состоянии. И ввергло оно наш народ и страну во тьму нового революционного анархизма. Неужто оно не понесёт за это никакой ответственности? Формально дозволенное “освобождение”, по сути, – ложное, обернувшееся новым беззаконием, оказалось дороже самой жизни, обеспеченной столь большими жертвами и страданиями людей.

Ярослав Смеляков был одним из немногих, кто понимал непростое сложившееся соотношение русского и советского. И этого ему не могут простить до сих пор. Именно поэтому о нём говорят как о *певце советского строя* и даже его идеологии, а не как о большом русском поэте советского периода истории нашей страны.

Но, к сожалению, совсем иначе мыслило подавляющее большинство образованных людей, “образованцев”, к которым принадлежал и сам автор этого определения А. Солженицын. Оно ожидало крушения “режима”, превратившись из советской народной интеллигенции в ту интеллигенцию, которая у нас

уже была в XIX веке, предпринявшую попытку развить “освободительное движение” в своей стране. . .

Но жить с ощущением, знанием и ожиданием того, что “режим” рухнет, то есть рухнет страна, в которой ты живёшь, — это похоже всё-таки на некий комплекс *смердяковщины*. Не могли же интеллигенты новой поры не знать того, что отдельно от страны “режимы”, то есть идеологии, не рушатся. Они рушатся только вместе со страной.

И потом, не могли же они не помнить о том, какими огромными жертвами и страданиями человеческими этот “режим” устанавливался. . . И живя уже пусть и в относительном, но благополучии, во всяком случае, без варварства революционного анархизма и массовых репрессий, ждать “крушения режима” — это всё-таки была своего рода безответственность.

Да, “слишком уж противоестественной была государственная идеология — в кричащем противоречии с историей страны и её культурой” (Станислав Джимбинов. “Коэффициент искажения”. “Новый мир”, № 9, 1992). Но каково должно быть это соотношение в новых условиях, разве об этом, в первую очередь, должны думать не деятели культуры? Разве они должны в столь важных вопросах всецело доверяться политикам? Однако такая мысль им, кажется, не приходила в голову. Было избрано самое простое, примитивное “разрешение” кричащего противоречия — крушение “режима”, понимаемое как-то умозрительно, без крушения судеб миллионов людей, в том числе и их собственных судеб.

Тот советский строй, как выразился поэт, — *стиль жизни*, который был объявлен в “демократическую” революцию “тупиковым” и не принадлежащим “исторической России”, а стало быть, подлежащий разрушению, стал результатом долгого и мучительного преодоления революционного сознания и нового государственного созидания. И мало чего общего имел он с началом советской эпохи и её революционной догматикой.

Привожу суждения Станислава Джимбинова как наиболее характерные, преобладавшие в образованной среде в то время. Признав наличие “духовного Чернобыля”, многие интеллигенты стали идеологическими бойцами новой революции. И тут пошла в ход литература как “средство” и как “помощница”, как сила “служебная” в процессе разрушения советской идеологии: “Можно ли рассматривать так называемую советскую литературу как продолжение русской литературы? Без колебаний отвечаешь: нет, это весьма отдалённый мутант русской литературы”. Да неужто творения М. Шолохова, М. Булгакова, А. Твардовского, Я. Смелякова, А. Ахматовой, В. Шукшина, В. Белова, В. Соколова, Н. Рубцова и многих других писателей — это не русская литература? Ну, был, конечно, и поток средних писаний, как и во все времена, но литература-то важна её вершинными творениями.

Убедительным доказательством опрометчивости и несправедливости таких представлений и суждений является то, что в результате чаемого крушения “режима” русская литература вообще была изъята из общественного сознания. Вот когда действительно наступил “духовный Чернобыль”. . . Значит, не смогли его предусмотреть, потеряв даже то, что имели? Значит, не оказалось достаточной прозорливости для этого? Выходит, что так. Как это ни печально осознать.

Но удивительно, что даже получив вместо демократии *беспредел*, не сотворив никакого саркофага на “духовный Чернобыль”, но пробудив новый, ещё более страшный кризис, автор тем не менее исполнен радости, даже счастья: “Однако счастье мы уже обрели — освобождение от чудовищной, калечащей душу идеологии”.

Но как человек образованный и глубоко мыслящий (знаю его не только по статьям, но и по лекциям в Литературном институте), Станислав Джимбинов задавался наиважнейшим вопросом о соотношении русского и советского, так и оставшимся никем не исследованным. А по поводу известной песни:

— *А куда же напишу я?
Как я твой узнаю путь?
— Всё равно, — сказал он тихо, —
Напиши куда-нибудь... —*

даже заметил: “Прислушайтесь внимательно — и в словах комсомольской песни вы рассмотрите христианское смирение и веру в чудо”.

Ну, так был “духовный Чернобыль” или нет? Так и хочется спросить: если был, то откуда взялись столь образованные и умные авторы, какие теперь не могут появиться в принципе? Прошло всего два десятка лет, и обнажилась вся опрометчивость подобных убеждений и суждений.

Такой оказалась логика интеллигенции советского периода истории. В своём желании сокрушить режим она поступила точно так же, как и интеллигенция XIX века. России советской ей оказалось так же не жаль, как той интеллигенции – России самодержавной.

Парадокс, даже можно сказать идеологический “капкан”, в который она попала, состоял в следующем: борясь с режимом, осуждая революционный вандализм и его последствия, она, тем не менее, стала идеологической обслугой новой, “демократической” революции в России. Причём революции криминальной... Неужто в этом и состояли её идеалы? Понятно, что идеалы – на то и идеалы, чтобы никогда не быть воплощенными в жизнь. Но когда между замыслом деяния и результатом этого деяния, изменившим положение в обществе, такая потрясающая разница, изъян следует искать в самом замысле.

Таким оказалось в миропонимании интеллигенции той поры соотношение русского и советского. Русское ей было не особенно нужно, и тогда она занялась борьбой с советским. То есть с тем государственным устройством, которое было, а никакого другого, как видим, и не было в её воспалённом сознании...

Но всё дело в том, что соотношение русского и советского давно постигнуто и выражено с большой поэтической глубиной в стихах Ярослава Смелякова.

2

Дело вовсе не в том, что Ярослав Смеляков был якобы фанатиком советской системы, а в том, что советский период истории он понимал как закономерный этап в трудной, трагической истории страны. Он исходил из того “режима”, который реально был, а не из того, какой он мог бы себе вообразить. Ведь, как оказалось, никакого другого “режима” у интеллигенции той поры даже в воображении не было. Была только борьба с “режимом” существующим. И чем далее мы уходим от “демократической” революции нашего времени, тем более убеждаемся в правоте Ярослава Смелякова. В этом отношении примечательно его стихотворение “Национальные черты”:

*С закономерностью жестокой
И ощущением вины
Мы нынче тянемся к истокам
Своей российской старины.*

*Мы заспешили сами, сами,
Не на экскурсии, а ввласть
Под нисходящими ветвями
К ручью заветному припасть.*

*Ну, что ж! Имеет право каждый,
Обязан даже, может быть,
Ту искупительную жажду
Хоть запоздало утолить.*

*И мне торжественно невольню,
Я сам растрогаться готов,
Когда вдали на колокольне
Раздастся звон колоколов.*

*Не как у зрителя и гостя
Моя кружится голова,
Когда услышу на берёсте
Умолкших прадедов слова.*

*Но в этих радостях искомым
Не упустить бы на беду
Красноармейского шеломы,
Пятиконечную звезду.*

*Не позабыть бы, с обольщением
В соборном роясь серебре,
Второе русское крещение
Осадной ночью на Днепре...*

Особенно поражает “ощущение вины”, которое испытывает поэт, так как “Рязанские Мараты”, впад в обольщение, натворили-набедокурили много чего, в порыве строительства “нового мира” отвергая всё истинное, родное, национальное. Потому “гул забвения и славы” плывёт над их кладбищем...

Но разве в этих стихах Ярослав Смеляков не оказался, к сожалению, *про-роком*, когда в наше время, отвергнув такой трудный советский период в истории страны, мы сотворили новую беду?.. Вот, оказывается, по Ярославу Смелякову, когда начиналась “перестройка”, и какая... А совсем не та “революционная перестройка”, которую мы помним и знаем...

Это понимали, пусть и немногие, его современники. У Владимира Леонovichа есть стихотворение, посвящённое Ярославу Смелякову, в котором он выражает именно эту мысль о судьбе поэта:

*...А знают что? Такой он и сякой,
К тому ж ещё угрюмый и гундосый.
Согнётся, будто в поле над сохой,
И рот заткнёт всегдашней папирсой.*

*В газете напечатает стишок
И в рукописи чистый лист оставит,
А между делом за вершком вершок
В историю российскую вращает.*

(“Дружба народов”, № 12, 1983)

Немногие, совсем немногие люди обладают талантом жить настоящим, то есть распознавать его истинный смысл и значение, ценить своё кратковременное земное бытие. Это трудно, это требует упорной работы души и разума. Чаще люди судят о настоящем по предшествующему, по стереотипам и догмам прошлого, словно не замечая, что жизнь не знает повторений. Но так проще и легче, ибо в текущей жизни непросто распознать, где подлинное, а где мнимое и ложное. Умение жить настоящим – это умение распознавать то, что происходит на самом деле. Знать истинную историю – это одно, а ностальгировать о прошлом, убегая в него от настоящего, считая своё время неким “недоразумением”, – это совсем иное. Это признак интеллектуальной несостоятельности и слабости воли.

Не случайно Ярослав Смеляков, по свидетельству Владимира Цыбина, возвращаясь из Югославии, как-то обмолвился: “Одни кладбища и руины. Никто не видит своего настоящего. Настоящим никто не гордится”.

Другая крайность ухода от настоящего – апелляция к неопределённому будущему, пока ещё никому не известному. Уход в этакую бесплодную мечтательность, где нет даже намёка на пророчество. В этом есть изрядная доля спекуляции, когда будущее предстаёт не в качестве идеала, который непременно воплотится, дай только срок, а в качестве догмата, изменить который невозможно по определению.

Ярослав Смеляков обладал удивительным талантом жить настоящим. Постоянные его обращения к истории имели иной смысл, собственно, они были подчинены потребности жить настоящим. Это он с предельной лаконичностью и точностью выразил в “Стихах, написанных в псковской гостинице”. Он мечтал, как Пущин, приехать к великому поэту “утром и зимой”, обязательно с шампанским, и чтобы “полозья бешено скрипели, и снег стучал из-под копыт”. Но – “Всё получилось по-другому”:

*Но из-под той заветной крыши
На то крылечко без перил
Ты сам не выбежал, не вышел
И даже дверь не отворил.*

*...И, сидя над своей страницей,
Я понял снова и опять,
Что жизнь не может повториться,
Её не надо повторять.*

*А надо лишь с благоговеньем,
Чтоб дальше действовать и быть,
Те отошедшие виденья
В душе и памяти хранить.*

И особенно поражает, пронзает душу читателя это беспощадное и вместе с тем такое простое и ясное: “Её не надо повторять”, – ведь у каждого человека – своя страница рукописи и своя судьба. Даже имя Пушкина в стихотворении не названо, а лишь поминается “пушкинский дом”, да “псковская гостиница”. Каждый пишет “свою страницу” в истории, а не повторяет чью-то, уже однажды прочитую...

Среди выдающихся русских поэтов советского периода истории нашей страны Ярослав Смеляков занимает особое место. В его творческой судьбе, в его наследии, как ни у кого из его современников, ясно виден тот путь, каким шло во временном развитии народное самосознание в этот драматический, сложный, мировоззренчески запутанный период нашей истории.

Но благородство, человеческая мудрость поэта в том и состояли, что, трижды пройдя испытания своего тяжкого времени – лагеря и финский плен, он не ожесточился, как многие, не “заиклился” на этом, превозмог личную, впрочем, вполне понятную обиду. Более того, как видно по всему, усилием воли отстранился от этой темы: “Позабылось быстро горе, я его не берегу”. И вовсе не из страха и не из осторожности, как полагают иные околотитературные публицисты, а, видимо, из глубокого понимания того, к чему это может привести. Это очень сильный творческий и человеческий поступок Ярослава Смелякова, остающийся и по сей день уроком для нас. Он остаётся для нас таким и потому, что многие писатели со сходной трагической судьбой не смогли удержаться на такой духовной и нравственной высоте. Так и не смогли психологически *выйти* из ГУЛАГа, навсегда оставшись там сознанием и душой... Более того, потащили за собой, в эту тюремную психологию, и своих читателей. То есть остались навсегда в пределах обыденной логики, далеко небезупречной и с точки зрения творческой, да и просто с человеческой.

Ведь продолжая писать о лагерях, о пережитом в них, выражая лишь свои обиды, они, как правило, мотивировали это следующим: ради установления правды; чтобы ничего подобного больше не повторилось. Все так. Они имели полное право на это. Но хотели они того или нет, так и не выйдя из лагеря, не найдя в себе сил преодолеть лагерную психологию, они продолжали удерживать лагерное сознание в своих современниках, а вовсе не способствовали освобождению его. Более того, они прививали его тем, кто его уже не знал по молодости лет. Такую коварную штуку сыграла с ними по-человечески понятная и вроде бы оправданная позиция критицизма. Декларируемые вроде бы благородные намерения обернулись в очередной раз своей противоположностью.

И о том, что это действительно так, свидетельствует то, что, пока разоблачалась прошлая неправда, созрела новая, может быть, ещё более коварная. Стало быть, *такой* путь к освобождению от неправды не приводит. Ведь указание на зло само по себе не избавляет нас от зла. Литературные “лагерники” поступили точно так же, как и их предшественники, которых они разоблачали: негодуя над неправдой своего времени, не заметили нового бедствия, выпавшего народу и стране. Более того, стали представлять его как возвращение к справедливости. То есть новое разорение России выставили как её возрождение...

Ну, а довод о том, чтобы ничего подобного больше не повторилось, какой-то и вовсе наивный, лишённый проницательности и мудрости. И потому, что история не знает повторений, и потому, что не таким способом создаются преграды от трагедий и социальных потрясений. Наоборот, такой способ создаёт предпосылки для их пробуждения. Духовная крепость достигается не воспитанием ненависти в человеке, но – любви, что русской поэзией постигнуто было уже давно.

В такой позиции Ярослава Смелякова действительно сказалась его человеческая и нравственная высота. А ещё — истинно православное отношение к людям и миру. И здесь уместно сопоставить его судьбу с судьбой архимандрита Иоанна (Крестьянкина), о котором рассказал в своей книге “Несвятые святые” и другие рассказы” архимандрит Тихон Шевкунов: “Отец Иоанн говорил, что каждый день поминает его (своего следователя. — П. Т.) в своих молитвах. Да и забыть не может... меня всегда поражало, как он отзывался о временах, проведённых в лагерях. Батюшка говорил, что это были самые счастливые годы его жизни.

— Потому что Бог был рядом! — с восторгом объяснял батюшка. Хотя, без сомнения, отдавал себе отчёт, что до конца мы понять его не сможем” (М., издательство Сретенского монастыря; “ОЛМА Медиа Групп”, 2011).

3

Советский период истории был довольно долгим и неоднородным. Более того, без учёта этого его *изменения и развития во времени* невозможно судить о нём объективно. Следует задаться вопросом: а что, собственно, составляло главное содержание этой эпохи? Нам тут же укажут: как что, да это же очевидно: крушение “исторической России” в результате революционной катастрофы 1917 года, господство марксистско-ленинской идеологии, чуждой народному самосознанию, с которой рано или поздно, но пришлось бы расстаться. Вот мы наконец-то с ней и расстались.

По внешним признакам всё вроде бы так. И все же это упрощённое и, по сути, неверное представление, так как по законам социального развития после всякой революции непременно наступает *реставрация* как отход от революционного анархизма и возвращение к народному самосознанию и традиции. А потому мы уверенно можем сказать, что основным содержанием идеологического противоборства советского периода истории нашей страны было противоборство *революционного сознания с традиционным*. Разумеется, при сохранении официальной марксистско-ленинской идеологии, которую просто отбросить было уже невозможно. Не через “отбрасывание” этой идеологии происходила реставрация, а через её медленное, но неотвратимое “переваривание”, переосмысление и возвращение к народной традиции в культуре и к народному самосознанию в жизни. Начался этот процесс в 1934 году, а с победным завершением Великой Отечественной войны можно было уже говорить, что Россия ценой огромных потерь восстановилась после революционной катастрофы начала века. Реставрация, по сути, завершилась. Особенность её в том и состояла, что официальной идеологией оставалась прежняя марксистско-ленинская схоластика. Преодоление революционного сознания и явилось главным итогом Великой Отечественной войны, а вовсе не “преимущество” социалистической системы над капиталистической, как писали в учебниках истории. И, что очень важно, наконец-то восстановилась русская литературная традиция, что свидетельствовало о возвращении к народному самосознанию.

Официальная идеология уже не была самым большим злом, так как “времен суровость” (Б. Пастернак) смягчилась. “Подобревшее лоно столицы”, — как писал Я. Смеляков, уже явно стало иным. Но тут-то со всей остротой и “обнаружилось” (вот новость!) несоответствие реального состояния народной и государственной жизни и их идеологического обеспечения. И поскольку литература у нас участвовала как в преодолении идеологии, так и в формировании новой идеологической картины общества, она раскололась на два, по сути, противоположных направления. Одни писатели работали в литературной традиции, восходящей к XIX веку, веку великой русской литературы. Другие, явно запоздало, занялись ликвидацией несоответствия между реальной жизнью и её идеологическим обеспечением. То есть низвержением идеологии, в то время как она не была уже самым большим злом, и это стало уже вполне безопасным делом. Это-то направление и было выставлено в общественном сознании как *передовое и прогрессивное*, не в пример традиционному — якобы *консервативному*.

Но поскольку веских причин для непримиримой и самоотверженной борьбы, воспринимаемой непременно как *благородный гражданский подвиг*, уже не было, то это направление литературы — *шестидесятническое, диссидентское* — обратилось к раннему периоду советской истории с его реальными

зверствами классовой борьбы. Сторонники этого направления убеждали общество, что теперь и только теперь надо, наконец, расстаться с этими несправедливостями, которые, по сути, уже были преодолены. А почему бы и не включиться в такую борьбу, если это было уже не столь опасно, как в довоенные годы, на эшафот идти уже не надо было, а между тем — можно было прослыть правдолюбцем... В результате такого временного смещения, а по сути — исторической манипуляции бунт *шестидесятников* был направлен против возвращения к народным началам жизни. За реанимацию всё того же *революционного* сознания, принесшего столько бед стране и нашему народу. За восстановление прежней идеологической схоластики.

Ведь это поколение *шестидесятников* и появилось на волне нового революционного рецидива в нашем обществе, пробужденного Хрущёвым. Как идеологическая обслуга *оттепели*. И души их были уязвлены не народными страданиями, а отступлением от *ленинских норм* идеологии, которой так долго и столь свирепо мордовали наш народ.

Правда, вскоре открылась вся неприглядность такой мировоззренческой основы бунта *шестидесятников*. И тогда её начали скрывать, выдавая её за борьбу за справедливость и за *историческую Россию*. На самом же деле это была борьба за *чистоту ленинской идеологии*, то есть, в конечном счёте, за идеологическое обоснование ГУЛАГа, против которого они вроде бы декларативно боролись. Так создавалась идеология новой революции в России, свидетелями и участниками которой мы стали десятилетия спустя. Вот главная мировоззренческая проблема той эпохи, от которой никуда не уйти и которая со временем будет проступать всё явственнее. Отдавали ли они себе отчёт в том, что, борясь с прошлыми несправедливостями, уже в основном преодоленными, они приуготавливают себе и нам новые несправедливости? Это уже не столь важно.

Словом, интеллигенция советского периода, назвавшая себя *шестидесятниками*, говоря словами А. Блока, начала снова *дичать*. Как уже, кстати, не однажды случалось в нашей истории. О *шестидесятниках* века XIX А. Блок писал ещё в 1919 году так, словно речь шла о *шестидесятниках* нашего времени, минувшего века: “Шестидесятничество и есть ведь одичание; только не в смысле возвращения к природе, а в обратном смысле: такого удаления от природы, когда в матерьялистических мозгах заводится слишком уж большая цивилизованная “дичь”, “фантазия” (только наизнанку) слишком уж, так сказать, — “не фантастическая”.

Бунт главного нашего диссидента — А. Солженицына — начинался именно как протест именно против “отступлений от ленинизма”. Правда, годы спустя он выставит его в прямо противоположном свете. Справедливо писал Вадим Кожин: “Известны слова А. И. Солженицына из “Письма вождям Советского Союза” (1973), призывавшие отбросить чуждую России идеологию: “Сталин от первых же дней войны не понадеялся на гниловатую порченую подпорку идеологии, а разумно отбросил её, развернул же старое русское знамя, отчасти даже православную хоругвь, — и мы победили!”... Но ещё показательнее другое. Сам Александр Исаевич во время войны, то есть за тридцать лет до своего “Письма вождям Советского Союза”, был явно и резко недоволен этим самым развёртыванием “старого русского знамени”... Солженицын, не дождавшись конца войны, в проходивших тогда цензуру письмах обвинил Сталина в отступлении от ленинизма. 9 февраля 1945 года он был арестован, и в его бумагах обнаружили портрет Троцкого, которого он считал истинным ленинцем...” (“Великое творчество. Великая победа”. М., Военное издательство, 1999). Эти истоки и особенности диссидентствующего патриотизма надо знать, о них нужно помнить. Никакие запоздалые декларации и риторика не должны нас вводить в заблуждение.

И разве не за это же ратовал один из видных *шестидесятников* А. Вознесенский:

*Уберите Ленина с денег,
так цена его высока.*

В результате столь запоздалой борьбы с чуждой идеологией произошёл возврат к *революционному* сознанию и замена интеллигенции: вместо советской интеллигенции, не державшей на идейное водительство, появилась но-

вая, идеологически озабоченная, по сути, такая же, как и в дореволюционное время, поставившая себя по отношению к народу в положение превосходства и дерзнувшая на борьбу с ним. Так борьба с марксистско-ленинской идеологией превратилась в борьбу с народом, с его культурой, традицией и самосознанием. Ведь тот анархизм и беззаконие, которые охватили ныне наше общество, являются не некоей издержкой перехода России якобы на свой истинный или на более прогрессивный путь развития, а прямым следствием очередной революции, со всеми её родовыми признаками и неизбежными бедами.

Ярослав Смеляков продолжал русскую литературную традицию. В его поэтическом мире с предельной ясностью проявилась эволюция народного самосознания в советский период истории страны – от *революционного* к *традиционному*. Именно этот аспект нашего духовного бытия старательно скрывали в послевоенный период и скрывают до сих пор с помощью новых идеологий, поскольку он лишает исповедников революционного сознания оправдания, метафизической основы для объяснения происходящего, мешает осуществлению новой революции в России. А её, как мы потом воочию убедились, спровоцировать, в иной форме, конечно, было несложно при господстве официальной идеологии “революционных ценностей”, а не народных ценностей и не национальных интересов. А потому, когда после стольких трагедий – революции, гражданской войны, голода, Великой Отечественной войны, нового хрущёвского революционного рецидива – в стране наступило хоть какое-то спокойствие, его тут же объявили “застоем”. Предстояло, конечно, не “застой” преодолеть, а разрушить кое-как устоявшийся уклад жизни, доставшийся народу столь дорогой ценой. Ну, не может жить иначе, кроме как бунтуя и разрушая, *прометеев человек*. У него просто нет иного способа заявить о себе на этом свете, кроме варварского, что является следствием его патологического безверия и бездуховности.

Станным было это наше *шестидесятничество*. Ему прощалось, дозволялось *вольнодумство* как бы для полноты общей картины культурной жизни: вот, мол, у нас и такое есть. И вместе с тем оно было самой исправной идеологической услугой власти. Причём не в народном её понимании, а в догматическом, марксистско-ленинском. Эдакие разрешённые *вольнодумцы* все с той же ортодоксией, от которой вся народная и государственная жизнь с таким трудом всё более и более отдалялась. По сути, они возвращали общество к той же идеологической догматике под видом *вольнодумства*. Могло ли на таком мировоззренческом обеспечении произойти что-либо иное, кроме новой революции? Конечно же, нет. И она произошла...

Когда внимательно следуешь за поэтической судьбой Ярослава Смелякова, обнаруживаешь поразительную закономерность: тот конфликт, который он пережил в молодости, стоивший ему стольких лет лагерей, сопровождал его всю жизнь. Несмотря на официальное признание и даже на государственные награды. Это проявлялось и в *крамольных* его стихах, которых у него оказалось немало: “Ты себя под Лениным чистил...”, “Голубой Дунай” и другие. И главное – в рукописи “Я обвиняю!”, представляющей собой его многолетнее расследование гибели или, по всей вероятности, убийства Владимира Маяковского. Смеляков писал: “Мы можем и должны сказать, кто преступник, кто сволоочь, можем назвать тех, кто подготовил роковой выстрел”. И он называет всех, частных к травле и гибели Маяковского. Но, видимо, при всей его известности и знаменитости, он так нигде и не смог эту статью опубликовать...

Я хорошо помню 38-страничную рукопись, бродившую в литературных кругах Москвы, помеченную декабрём 1970 года, то есть всего лишь за два года до кончины автора...

Но ведь сам факт того, что рукопись была пущена для ознакомления в литературных кругах именно таким образом, а не через публикацию, говорит о многом. По всей видимости, у Ярослава Смелякова другого способа передать её литературной общественности не было...

Как видно из этой рукописи, и конфликт Владимира Маяковского, и конфликт самого Ярослава Смелякова с обществом осуществлялся не в плоскости “поэт и власть”, а по совсем иным параметрам. Это был конфликт между поэтом и той околотитулярной публикой, которая имела совсем иные виды и на русскую поэзию, и на русскую историю, и на судьбу России... И имела она большое влияние на общественное сознание нашей страны. Это были те лю-

ди, с кем мы “даже вроде дружим”, но “кому — до боли сердца нужен — любовью, но всё-таки успех” (“Письмо другу — стихотворцу”).

Ярослав Смеляков любил Владимира Маяковского, как и многие люди его поколения. Причём, как это ни странно, в его поэзии нет ученичества, связанного с поэзией Маяковского. Совершенно справедливо отметил Николай Старшинов, “Смеляков обожал Маяковского. Следуя за ним (хотя формально он не испытал никакого влияния его), он сам стремился к тому, чтобы каждое стихотворение содержало в себе так называемое гражданское звучание. И это была не поза, не дань моде, не желание спекулировать на теме, но глубокое внутреннее убеждение” (“Поэзия”, № 1, 1998).

По всей вероятности, в Маяковском Смелякова привлекало другое, не только собственно его поэтика. Для него он был, видимо, образцом взаимоотношений поэта и общества, он был властителем дум, обладающим колоссальным влиянием на людей. Именно таким, по его мнению, должно было быть положение поэта в обществе, о чём обмолвился в своих воспоминаниях о Ярославе Смелякове Владимир Цыбин: “Мне часто казалось, что ему хотелось, чтобы поэты походили на вождей”.

Смеляков защищал Маяковского мужественно и бесстрашно. Чего только стоит публикация его стихотворения, посвящённого Маяковскому, в альманахе “Поэзия” (№ 10, 1973), где поэт со всей беспощадностью обличает тех, кто травил поэта и, в конечном счёте, стал причиной его гибели:

*Ты себя под Лениным чистил,
Душу, память и голосище,
И в поэзии нашей нету
До сих пор человека чище.*

*Ты б гудел, как трёхтрубный крейсер,
В нашем общем многоголосье,
Но они тебя доконали,
Эти лили и эти оси.*

*Не задрипанный фининспектор,
Не враги из чужого стана,
А жужжавшие в самом ухе
Проститутки с осиным станом.*

*Эти душечки-хохотушки,
Эти кошечки полусвета,
Словно вермут ночной, сосали
Золотистую кровь поэта.*

*Ты в боях бы её истратил,
А не пролил бы по дешёвке,
Чтоб записками торговали
Эти траурные торговки.*

*Для того ль ты ходил, как туча,
Медногорлый и солнцеликий,
Чтобы шли за саженым гробом
Вероники и брехобрики?!*

*Как ты выстрелил прямо в сердце,
Как ты слабости их поддался,
Тот, которого даже Горький
После смерти твоей боялся?*

*Мы глядим сейчас с уваженьем,
Руки выпростав из карманов,
На вершинную эту ссору
Двух рассерженных великанов.*

*Ты себя под Лениным чистил,
Чтобы плыть в революцию дальше,
Мы простили тебе посмертно
Револьверную ноту фальши.*

Об истории публикации этого стихотворения рассказал в своё время Николай Старшинов: “Осенью 1972 года я с поэтом Вадимом Кузнецовым приехали к Ярославу на дачу в Переделкино. Поэт был нездоров, плохо себя чувствовал. И настроение у него было неважное, даже расстроенное... Я попросил у Ярослава стихи для альманаха “Поэзия”, куда только что поступил на работу. Он, по сути дела, отговаривался:

– Я же сказал, что не могу сейчас писать... Ничего нового у меня нет... Впрочем, у вас в издательстве осталось несколько моих стихотворений, которые не вошли в мою последнюю книгу. Помните, Таня попросила их снять... Вот и можете их отыскать и напечатать...

– И стихи о Маяковском тоже можно?

– Печатайте и эти стихи. Я не против, если они у вас сохранились...

Дело в том, что при отправке в набор его последней прижизненной книги Таня Стрешнева, жена Ярослава, попросила снять, вынув из рукописи, идущей в производство, несколько стихотворений. В первую очередь стихи о Маяковском “Ты себя под Лениным чистил...”.

После публикации этого стихотворения разразился скандал. Николай Старшинов вспоминал историю, связанную с публикацией этого стихотворения: “После выхода альманаха “Поэзия” стихотворение это не было ни разу опубликовано ни в одном издании. А с самим номером альманаха произошла непонятная история. Он мгновенно исчез с полок книжных магазинов. Поэт и прозаик Виталий Коржииков рассказал мне даже такое:

– Подошёл я несколько дней назад к книжному магазину, который находится поблизости от моего дома. Смотрю: подъезжает к нему легковая машина. Из неё вышли молодые люди. Они по-быстрому забежали в магазин, вынесли из него с десяток пачек каких-то книг. Я услышал их разговор: “Сейчас отъедем за город и сожжём...”. Я зашёл в магазин и поинтересовался у продавца: что это за книги вынесли сейчас эти молодые ребята? А он мне: “Да это последний номер альманаха “Поэзия”.

Потом начали пытаться членов редколлегии альманаха: были ли они ознакомлены со стихотворением до его публикации? Многие уклонились от ответа, и только поэт Василий Фёдоров сказал, что он был ознакомлен, хотя на самом деле стихотворения этого до публикации не видел...

Таковыми совсем недавно были литературные нравы. В таких условиях существовала русская литература советского периода истории нашей страны. Такой была идеологическая борьба. Не за строчки, конечно. Но за русскую поэзию, за нашу российскую жизнь. И, как видим, сводилась она вовсе не к проблеме “поэт и власть”, а проходила совсем по иному горизонту.

Ярослав Смеляков всю жизнь размышлял о гибели Владимира Маяковского. В упомянутой рукописи “Я обвиняю!” он писал: “В течение 40 лет я не переставал думать: что же произошло 14 апреля 1930 года?... Исследуя и сопоставляя факты, имеющие отношение к смерти Маяковского, я пришёл к выводу, что она подготавливалась врагами поэта издавна, планомерно и неотступно”.

Он не просто перечислил имена всех, причастных к гибели поэта, но и назвал явление, по причине которого определённая часть критики отказывала в признании наиболее талантливым русским поэтам, начиная с Пушкина: “О том, что определённая часть критики не понимает и не признаёт многих русских писателей, говорил в своё время А. П. Чехов. В дневнике 1897 года он откровенно писал: “Такие писатели, как Н. С. Лесков, С. В. Максимов, не могут иметь успеха у нашей критики, так как наши критики почти все евреи, не знающие, чуждые русской коренной жизни, её духа, её форм, её юмора, совершенно непонятного для них, и видящие в русском человеке не больше не меньше, как скучного инородца. У петербургской публики, в большинстве руководимой этими критиками, никогда не имел успеха Островский, и Гоголь уже не смешил её” (Чехов, ПСС, 1933. Т. 12. С. 112).

Я понимаю, что уже за одну эту цитату меня обвинят в антисемитизме, – продолжал Ярослав Смеляков. – Нас, русских людей, издавна запугивают этим словом. Между тем, если повнимательней понаблюдать нашу жизнь, осо-

бенно в части литературы и искусства, нетрудно убедиться, что не антисемитизм, а антирусизм или, как прежде говорили, – русофобство получило необыкновенное развитие и приносит ощутимый вред социалистической культуре. Трагическая судьба Маяковского – одно из подтверждений тому... То, что писал Чехов о критиках Лескова и петербургских истолкователях Гоголя и Островского, полностью, а может быть, ещё в большей мере относится к критикам Маяковского. Они действительно оказались неспособными понять Маяковского как русского поэта”.

Размышляя долгие годы о трагической участи Маяковского, Ярослав Смеляков вместе с тем думал не только о нём, но о положении талантливых русских поэтов в обществе вообще. Дело в том, что в качестве основного, дежурного идеологического довода “враги социализма”, а точнее – недоброжелатели России, как во вне, так и внутри страны выдвигали то, что поэт якобы “пришёл в противоречие с советской действительностью. Такого противоречия не было и не могло быть”. Эти слова Ярослава Смелякова в полной мере относятся и к нему самому. И мы видим, как неореволюционеры нашего времени этот же довод задним числом пытаются применить и к Ярославу Смелякову, “не понимая”, как поэт, столько отсидевший в лагерях, не только не впал в обличительность и диссидентство, в “диссидентский соцреализм”, по точному определению Станислава Куняева, но гордился своей трудной эпохой и многострадальной страной.

4

Следует всё-таки особо остановиться на драме жизни Ярослава Смелякова, тем более что о сути её постоянно умалчивается. И вовсе не случайно. Между тем как она многое объясняет и в его судьбе, и в его творчестве. Поразительно же, в самом деле, что всего лишь из шестидесяти лет жизни поэт одиннадцать лет провёл на нарах, в тюремном заключении и в плену, тринадцать лет оставался с судимостью, которая была снята с него только после вручения Государственной премии, в 1969 году, за три года до кончины... И это поэт, как представляли его официально, *рабочей темы и комсомольской романтики*. Выходит какая-то и вовсе специфическая и неромантическая романтика...

Ярослав Смеляков действительно занимает особое, исключительное место как в русской литературе советского периода, так и в нашем самосознании. Причём не только в то время, но и сегодня. Всей своей трагической, многострадальной судьбой он явил нам удивительный пример истинно человеческого достоинства и благородства, подлинной гражданственности в самых неблагоприятных условиях жизни. И чем далее, тем это становится всё более очевидным.

Проще всего в столь долгих несчастьях, выпавших на долю поэта, обвинить политическую систему, “режим” и на этом посчитать свою задачу выполненной. И все внешне будет вроде бы правдой. Если бы не одно обстоятельство. Слишком уж у нас были разными “жертвы режима”, а порой и прямо противоположными.

Для одних лагерное прошлое становилось основным достоинством их литературного творчества и образцом гражданственности, своеобразной индульгенцией, по которой им прощалось и несовершенство их писаний, и не слишком лояльное отношение к власти. И тут, конечно же, прежде всего, вспоминается несчастье А. Солженицына. В биографиях других поэтов и писателей, в том числе и Я. Смелякова, эти события старательно замалчиваются, что приводит порой к забавным казусам. С чего бы так? Видимо, это случилось потому, что для одних ничего, кроме “режима”, в *этой стране* не существовало. И они боролись с ним последовательно и неистово, менее всего думая о последствиях своей борьбы. То есть оказались они людьми непрозорливыми. Другие же помнили о том, что, кроме “режима”, есть ещё и многострадальный народ, есть ещё и *наша страна*, Родина, занимающая уникальное, но вместе с тем и сложное положение в мире. Возможно, что именно поэтому она и ввергалась в нескончаемые войны. А потому апеллировать только к “режиму”, всю историю народа и страны сводить к “освободительному движению” они не могли. И вовсе не из страха перед беспощадностью системы, а потому, что это было оскотлением истории и, по сути, исторической неправдой.

Но теперь-то, когда борьба с “политической системой” и “режимом” принесла не только не те результаты, которые нам обещали, которых ожидали и которые декларировали, но прямо противоположные, — произошло не освобождение народа, а ещё более изощрённое его закрепощение — разве это не убеждает нас в том, что неистовость борцов с “режимом”, с советской системой была лишь формой их самоутверждения, просто они, по-видимому, не нашли для этого иных средств и способов? Значит, они именно этого хотели?.. или их просто провели?.. Но если так, чем же, в таком случае, восхищаться и на каком основании выставлять их правдолюбцами?.. Речь, очевидно, идёт вовсе не о защите “политической системы”, а о том, что она имела свою трудную, трагическую историю. А потому напрочь отвергать её, не учитывая этого и ничего не предлагая взамен, кроме пресловутого “прав человека” и неопределённой и, как правило, спекулятивной “свободы”, означало ввергнуть народ в новый виток революционного анархизма. Теперь уже — в иной форме. Что, собственно, и произошло.

Размышляя над тем, почему были столь разными наши “жертвы режима”, приходишь к выводу, что Ярославу Смелякову до сих пор не могут простить того, что он, человек столь трагической судьбы, прошедший лагеря и плен, не стал диссидентом. Хотя у него для этого было гораздо больше оснований, чем, скажем, у А. Солженицына. Ведь история ареста Солженицына в конце Великой Отечественной войны хорошо известна: вовсе не за патриотизм он выступал и не за “историческую Россию”, но против отступлений от “чистоты” ленинизма... Это уже потом он обратился к державным декларациям. Но первопричина его диссидентства была совсем иной.

Итак, обратимся, хотя бы кратко, к трагической судьбе Ярослава Смелякова. Мне попало в руки исследование А. Белоконя “Жизнь Ярослава Смелякова, или Возвращение из долгого путешествия”, опубликованное в журнале “Север” в 1994 году.

Автор этого труда не касается творчества, но ставит своей целью “несколько прояснить судьбу поэта”, тем более что о ней пока ничего не рассказано. Это исследование ценно ещё и тем, что автор хорошо знает систему “исправительных” учреждений и старательно поработал в архивах. Исторически отсылаясь о вступительной статье поэта Марка Соболя к книге избранных произведений Ярослава Смелякова, в которой тот писал, что “Ярослав только что вернулся из долгого и невесёлого путешествия”, автор и разбирает все три “путешествия”, которые случились в судьбе поэта (М., “Советская Россия”, 1976).

Первое “невесёлое путешествие” Ярослава Смелякова началось, как известно, с ареста в декабре 1934 года после грозной статьи М. Горького “Литературные забавы”. Как не без оснований уточняет А. Белоконь, “сочинённой на основании писем-доносов, услужливо подсунутых М. Горькому плеядой “доброжелателей”, завидовавших талантам молодых поэтов. Вот и получилось, что Алексей Максимович знает только то, что “от молодого комсомольского поэта Смелякова постоянно пахнет вином”, но анализа его творчества нет в этой статье. Впрочем, как и других поэтов, попавших в разгромную статью, имевшую, скажем прямо, поистине трагические последствия для всей поэзии 30-х годов: практически мало кто из “героев” статьи не был репрессирован”.

Поэту вменяли в вину антисоветскую деятельность, террористические настроения, а также намерение вместе с Л. Лавровым коллективно покончить жизнь самоубийством в знак протеста против советской действительности. Состав преступления явно не получалось. “Антисоветская деятельность” сводилась к критике Союза писателей и к неодобрительным отзывам об “ударничестве”. “Террористические настроения” усматривались в факте изъятия у него книги Гитлера “Моя борьба”, изданной на русском языке ограниченным тиражом и выдаваемой по спискам, утверждённым ЦК ВКП(б). Кто дал почитать поэту книгу, следователи, конечно же, знали, не могли не знать. И тогда прибегли к внесудебной расправе. Постановлением особого совещания от 4 марта 1935 года Я. Смеляков, как и поэты, арестованные одновременно с ним, были осуждены к трём годам исправительно-трудовых лагерей за “участие в контрреволюционной группе”.

Вернувшись из первого “путешествия”, Я. Смеляков обратился в Союз писателей. И генеральный секретарь Союза писателей В. Ставский “помог” ему устроиться на работу “по специальности”: в редакцию многотиражной газеты трудовой коммуны им. Дзержинского в г. Люберцы. То есть поэт оказался в той же “исправительной” системе, но уже в качестве вольнонаёмного. И толь-

ко в середине 1939 года он получил разрешение на проживание в Москве и поселился в квартире матери. И даже перешёл на работу в Союз писателей инструктором сельской прозы.

Второе “путешествие” Я. Смелякова произошло в ходе войны. За месяц до её начала он был призван в армию и направлен на формирование 521-го строительного батальона под Петрозаводском, который участвовал в сооружении оборонительных укреплений. Затем строительный батальон, в котором служил Я. Смеляков, был брошен на формирование 1-й лёгкой стрелковой бригады Карельского фронта, занимавшей оборону западнее Медвежьегорска. Там, при разгроме финнами его части, он и попадает в плен. С марта 1942 года он находился в Выборгском лагере, где использовался на общих работах. Там же он получил и должность валистуса – просветителя лагеря, в обязанности которого входила работа в библиотеке, распространение среди военнопленных газет и журналов, изготовление стенгазет для бараков. Среди своих товарищей по несчастью он получил прозвище “Пушкин”. Ясно, какой направленности была эта литература: она должна была посеять среди военнопленных неверие в победу России, Советского Союза над Германией.

Между тем А. Белоконь пишет и о подпольной патриотической деятельности Я. Смелякова в лагере, основываясь на свидетельствах его сотоварищей по неволе И. П. Ражева и В. А. Пузыня. Однако резонно замечает, что “каким бы подтвердить или опровергнуть факты патриотической деятельности Я. Смелякова в плену пока не удалось. Видимо, слово за архивами Финляндии”. Известно только, что когда возник конфликт между военнопленными Выборгского лагеря и его администрацией, причиной которого послужило требование военнопленных помощь от Красного Креста выдавать им на руки, а не пускать в общий котёл, из числа военнопленных была выбрана делегация для переговоров с администрацией, в состав которой вошёл и Я. Смеляков. И именно он написал требование военнопленных и передал его начальнику лагеря. Конечно, за этим последовало наказание.

В ноябре 1944 года все военнопленные из Финляндии были отправлены в Советский Союз, где, естественно, проходили проверку в фильтрационных лагерях. Военнопленные из Выборгского лагеря проходили проверку в г. Сталиногорске – ныне город Новомосковск Тульской области. Никаких претензий к поэту в связи с его пленением и обстоятельствами “сотрудничества” с администрацией лагеря не предъявлялось. Да он и сам изложил всё, как было, письменно в своём заявлении. Ему было разрешено работать в газете “Сталиногорская правда” и выезжать в Москву к матери.

Но вот примечательный факт. Как только поэт после стольких испытаний начал возвращаться к творчеству, к литературному труду, он тут же был подвергнут разгрому в статье Сергея Львова “Заблуждения талантливого поэта” на страницах “Литературной газеты” от 1 октября 1949 года. Зная то, в какой мере в те времена литература была делом “партийным”, какая борьба в ней велась и какие нравы преобладали, мы не можем считать этот факт совершенно случайным. Он был для Смелякова отголоском уже пережитого. Шесть лет спустя после войны 20 августа 1951 года Я. Смелякова арестовывают и предъявляют ему самое тяжкое обвинение, какое только могло быть, – “измена Родине и антисоветская пропаганда”. Если открылись какие-то факты его недостойного поведения в плену, то почему единственным свидетелем выступила ещё довоенная знакомая поэта – писательница С. С. Виноградская, которая из свидетельницы превратилась вскоре в обвиняемую и тоже оказалась в местах лишения свободы? Совершенно неожиданно заседание военного трибунала Московского военного округа было прервано, и суд решил вызвать товарищей поэта по плену, которые подтвердили бы, что он добровольно в плен не сдавался и в лагере вёл патриотическую работу. Как отмечает А. Белоконь, “такое решение суда – случай по тем временам поистине беспрецедентный”. Однако, *несмотря на показания* товарищей Я. Смелякова по плену, подтвердивших его правоту, приговор был убийственный – 25 лет исправительно-трудовых лагерей, поражение в правах на три года и конфискация имущества. И это – в 38 лет...

Отбывал он “наказание” в Инте. За всё время пребывания в лагере не подал ни одной жалобы, и дело его было пересмотрено в общем порядке. Сначала снизили срок до десяти лет, а 19 августа 1955 года Я. Смеляков был освобождён из лагеря.

В ходе этого третьего “путешествия” поэта было ещё одно обстоятельство, обращающее на себя внимание, поскольку и его тоже нельзя считать случайным. Когда следствие подошло к концу, 13 ноября 1951 года следователь подполковник Овчинников принял решение *уничтожить фотографии, письма, черновики стихотворений, то есть весь архив, изъятый у поэта при его аресте...* Конечно, мы теперь можем лишь предполагать, какие силы могли принудить следователя принять такое удивительное решение. Зачем ему было уничтожать материалы, которые должны были служить уликами против арестованного?.. Пожалуй, приходится согласиться, что послевоенный арест Ярослава Смелякова никакого отношения к плену не имел.

Однако есть надежда на то, что не весь послевоенный архив Я. Смелякова был тогда уничтожен. Видимо, поэт, наученный трагическими превращениями своей судьбы, жил осторожно и вряд ли держал весь архив у себя дома. В Новомосковске Тульской области, куда Я. Смеляков был направлен из плена для проверки, он сдружился с журналистом и поэтом Степаном Поздняковым и какую-то, а может быть, и значительную часть архива передал ему на хранение. Подтверждение этому я нашёл совершенно неожиданно для себя.

В Москве у меня был старший товарищ, земляк-кубанец, ныне покойный военный журналист и историк, полковник Виталий Григорьевич Радченко. В последние годы его жизни мы часто встречались, в том числе и у него дома. До 1967 года он служил в Туле.

И вот однажды в кругу его семьи когда зашёл разговор о Ярославе Смелякове, и его супруга Галина Викторовна рассказала мне следующее. В 60-х годах она работала в тульской областной газете “Шахтёрская правда”. Там она и познакомилась с поэтом и журналистом Степаном Поздняковым из г. Новомосковска, активно сотрудничавшим в их газете.

Как почти каждый фронтовик, Степан Поздняков был ершистым. Но когда сложились доверительные отношения, он рассказал Галине Викторовне о том, что дружил в Новомосковске с Ярославом Смеляковым, и “у него на сохранении был его архив, пока Ярослав отбывал срок на зоне”. Когда семья Радченко переехала в Москву, точнее – Виталий Григорьевич был переведён по службе для работы в центральной военной печати, Степан Поздняков прислал Галине Викторовне свою книжку стихотворений “Косы русые России” (Тула, Приокское книжное издательство, 1971). То есть, надо полагать, отношения у них были добрые, и вряд ли Степан Поздняков стал бы рассказывать о дружбе с Ярославом Смеляковым человеку случайному.

Забрал ли потом Я. Смеляков свой архив у новомосковского друга, мы не знаем.

Вполне возможно, что, наконец-то выйдя на свободу и возвратившись к литературной работе, он и не думал о нём – ему было не до архива. Так что возможные открытия о жизни Ярослава Смелякова нас ждут не только в архивах Финляндии, но и в затеряншемся тульском архиве поэта... В поисках этого архива Ярослава Смелякова можно было бы рассчитывать на одержимость местных краеведов. Но где они теперь...

5

Одним из самых совершенных творений Ярослава Смелякова, в полной мере отражающим понимание им гражданской войны, “похлёбки классовой борьбы”, советского периода истории нашей страны, который оказался “предельно сложный в своём веселье и тоске”, является стихотворение “Жидовка”. Стихотворение малоизвестное, не вошедшее даже в самую полную книгу стихов поэта, изданную в серии “Большая библиотека поэта” в 1979 году. Нам должно быть понятно, что “крамольным” оно оказалось уже из-за своего названия, из-за того, какой тип героини предстаёт в этом стихотворении Ярослава Смелякова, с удивительной последовательностью отдававшего дань в своей поэзии женским образам. Из-за ложно понимаемой политкорректности, которая у нас стойко сохраняется и жёстко удерживается до сих пор, это стихотворение постигла столь незавидная судьба.

В “перестроечные” годы “демократы” из журнала “Новый мир” предприняли было первую публикацию этого стихотворения” (№ 9, 1987). Но публикация обернулась форменным скандалом. Как совершенно справедливо писал Станислав Куняев, “они, всю жизнь, со времён Твардовского, воевавшие против

цензуры, не смогли “проглотить” название и первую строфу: стихотворение назвали “Курсистка”, и первую строфу чья-то трусливая рука переделала”.

В этом стихотворении мне представляется более значимым и важным не сам тип персонажа, хорошо известный, не эта старуха, сохранившая “безжалостный взгляд”, а иное: что же произошло такое в России за это время, что её как революционерку уже не уничтожат, как она уничтожала других, а “велят” вернуться в столицу? Поэт выражает это предельно точно: “**подобревшее лонно столицы**”... Но в таком случае неизбежно возникает вопрос: а такой революционный тип людей с их беспощадностью и безжалостностью способствовал ли созиданию советской жизни, этому *подобрению*, или же наоборот – препятствовал ему? И на этот вопрос Ярослав Смеляков даёт ответ: “И тебя самое под конвоем *по советской* земле повезут”. Ведь, казалось бы, тут больше подходило бы “по российской земле повезут”. Нет, именно “по советской”. Ведь когда столь ретивых революционеров, сохранивших свой “безжалостный взгляд”, осуждали за “антисоветскую деятельность”, – это было сущей правдой, так как их революционный радикализм уже работал против с таким трудом создаваемой новой государственности – *советской России*. И они, по всей видимости, это хорошо понимали, потому с такой лёгкостью подписывали столь грозные обвинения. Ну, а другой государственности, кроме этой, вновь создаваемой, у нас не было. Можно было сколько угодно вздыхать по “исторической России”, предаваться маниловским мечтаниям о её скором “освобождении от коммунизма”, чем занималась значительная часть эмиграции, – всё это было уже вне той жизни, которой жила страна. Всё, вопрос был исчерпан. Но и жизнь пошла не по революционным идеям “жидовок”, а по совсем иным, народным путям, насколько это было возможно после революционного погрома страны и при сохранении всё той же идеологии... .

Подменять же *советское коммунистическим* давно стало самым распространенным обыкновением – сначала у интеллигентных интеллектуалов, а потом и у творцов новой революции. Ведь, собственно, на этой подмене и строилась идеология “демократической” революции... .

Но какая широта души у поэта – никакой обиды, никакой мести или хотя бы злости к этой старухе, всё ещё сохраняющей “безжалостный взгляд”, а только жалость... .

Наконец, что же произошло такое в стране, что сам поэт, с юности обвиняемый в отсутствии “пролетарского мышления”, в “моральном разложении”, в “участии в контрреволюционной группе”, столько лет отсидевший в тюрьме, со временем стал официально признанным? Неужто лишь потому, что умело подстроился под “стиль” эпохи? Нет, конечно. Коренным образом изменилась жизнь в России, когда истинный поэт смог занять своё, подобающее ему место в обществе.

Это стихотворение Ярослава Смелякова тем и уникально, что в нём даёт-ся общая, но точная картина того, что происходило в действительности и что оставалось, да и всё ещё остаётся заслонённым идеологической догматикой, теперь уже новой, “либерально-демократической”.

Как нет, кстати, никакой обиды и мести в стихотворении “Послание Павловскому”, окрестившему молодого поэта “крестом решётки” на Лубянке. Казалось бы, могла быть и месть, вроде бы такая оправданная и даже праведная. Нет, здесь совсем иное, даже снисходительно-дружеское: “За чашкой чая нам с тобою о прожитом потолковать”. Значит, в обществе произошли столь важные перемены, что теперь узник и палач могут встретиться за чашкой чая. А это означало, что революционное сознание перестало быть преобладающим, что жестокое противостояние в народе, наконец-то, завершилось. А это ведь факт огромной значимости для народа и страны, измученных братоубийственной войной и постоянной “немой борьбой”.

Мне могут возразить на такой генезис советского периода истории нашей страны, выводимый из творческого наследия Ярослава Смелякова: но ведь, в конце концов, пришлось *освободиться от советскости*. Да нет, не так. От самодержавия, как мы помним, тоже *пришлось освободиться*... . Такое утверждение было бы справедливым при единственном условии: если бы действительное освобождение состоялось. Но коль произошло новое разрушение страны, культуры народа, причём в ещё более коварных формах, значит, тем самым оправдывается новая революционная катастрофа России. Ну, а убеждение в “неизбежности” такого варварства оставим самым идеологизированным нашим соотечественникам.

Но нынешние неореволюционеры, разоблачители советского периода истории страны, уже не имея на то никакого права, требуют мести и расправы. Причём зачастую над жертвами, а не над палачами... То есть они требуют продолжения революционного анархизма и беззакония под видом преодоления былого беззакония и утверждения идеалов демократии. Вот, собственно, и вся идеологическая приманка, с помощью которой была разыграна величайшая трагедия нового времени – развал Советского Союза, но, слава Богу, ещё пока не России.

Стихотворение “Послание Павловскому” помечено 1967 годом. Привожу стихотворения полностью, чего обычно в статьях не делается, лишь потому, что при нынешнем расцвете демократии, почему-то сопровождаемом изгнанием русской литературы из системы образования, современный читатель ни в каких антологиях и сборниках прочитать их не сможет.

*В какой обители московской,
В довольстве сытом иль в нужде
Сейчас живёшь ты, мой Павловский,
Мой крёстный из НКВД?*

*Ты вспомнишь ли мой вздох короткий,
Мой юный жар и юный пыл,
Когда меня крестом решётки
Ты на Лубянке окрестил?*

*И помнишь ли, как птицы пели,
Как день апрельский ликовал,
Когда меня в своей купели
Ты хладнокровно искупал?*

*Не вспоминается ли дома,
Когда смежаешь ты глаза,
Как комсомольцу молодому
Влепил бубнового туза?*

*Не от безделья, не от скуки
Хочу поведать не спеша,
Что у меня остались руки
И та же детская душа.*

*И что, пройдя сквозь эти сроки,
Ещё не слабнет голос мой,
Не меркнет ум, уже жестокий,
Не уничтоженный тобой.*

*Как хорошо бы на покое, —
Твою некстати вспомнив мать, —
За чашкой чая нам с тобою
О прожитом потолковать.*

*Я унижаться не умею
И глаз от глаз не отведу,
Зайди по-дружески скорее.
Зайди.*

А то я сам приду.

Какую цель преследовала та новомировская публикация этих двух стихотворений, со столь бесцеремонной цензурой? Ею пытались показать, что и Ярослав Смеляков причастен к лагерной теме, из которой тогда изготавлилась новая “демократическая” идеология революционного разорения России. Но из этого, кроме скандала, ничего не получилось, так как Смеляков не был лагерным поэтом.

Можно ли его назвать поэтом советским, в том расхожем, идеологизированном смысле слова? Разумеется, нет. Он был большим русским поэтом советского периода истории нашей страны. А это не одно и то же.

Сказать о Ярославе Смелякове лишь то, что он “верил в идею”, в правоту социалистического строя, оправдывал и поддерживал его, — значит, всё свести к идеологии и политике, где легко орудовать всевозможным идеологическим лукавцам. Как большой поэт и глубокий мыслитель, он просто понимал истинный смысл и значение своего времени. Его понимание эпохи не вошло в полной мере в общественное сознание и до сих пор.

Он нашёл абсолютно точное определение этому периоду истории, не в пример идеологам и политикам. Не “строй” и не “режим”, как скажут его ниспровергатели, но “**стиль**”:

*Он вошёл в мои книжки неплохо,
Он шумит посильней, чем ковыль,
Тот, что ты создавала, эпоха —
Большевистского времени стиль.*

Но в том-то и дело, что стиль у него — не только “большевистского времени”, но он относится и ко всему народному бытию. Как в стихотворении “Мужицкие письма”:

*...Всё было бы только притворство,
Я сам ничего бы не смог,
Когда бы в своё стихотворство
Не внёс доморощенный слог.*

*Издержки и таинства стиля
Ничуть не стараюсь избыть,
Да, мы его дома растили,
А где его надо растить?*

*...Но всё-таки стиль создавали,
Пока он таким вот не стал,
Все те, что тогда диктовали,
А я только просто писал.*

И здесь в его творчестве просматривалась основная для того времени проблема — о соотношении советского и русского. А потому оценка его творчества лишь с точки зрения лояльности к советской эпохе является спекулятивной: “С годами о Смелякове возникла легенда, будто поэт, трижды отсидев в лагерях, до конца оставался фанатиком советской власти. Ярый сторонник этого мифа — Станислав Куняев” (В. Огрызко). Надо быть невысокого мнения о поэте, чтобы допускать мысль, что он мог писать с оглядкой на вождей: “От него ждали гражданской лирики, но такой, какая бы могла усладить вождей. И он через силу выдавил из себя эту лирику. В 1948 году поэт издал небольшой сборник “Кремлёвские ели” (В. Огрызко).

Но такое облыжное осуждение поэта имеет и другую нехорошую сторону — оно скрывает тот истинный конфликт, который поэт переживал.

Не только Станислав Куняев, но, пожалуй, все, кто близко знал Ярослава Смелякова, отмечали, что у него не было обиды за перенесённые испытания. Но кроме того, об этом убедительно свидетельствуют его стихи. Только человек широкой души мог удержаться на такой высоте. Судя по всему, он знал, кто повинен в его несчастьях. Может быть, и это знание не позволяло ему обличать страну, строй, эпоху и уж тем более народ. В отличие от писателей, впавших в диссидентство и, как правило, мыслящих неглубоко.

6

Несмотря на то, что поэт говорил о своём постоянстве и старомодности, что он “в своих пристрастиях крайне стойкий”, нельзя не заметить той разительной перемены, которая происходила в его поэтическом мире, когда оценки тех или

инных явлений становились, по сути, прямо-таки противоположными. Как в последней книге “Декабрь”. Это был всё тот же Смеляков и всё-таки новый.

Какая-то невысказанная огромность и значимость человека, личности осветила его новые строчки:

*Я строил окопы и доты,
Железо и камень тесал,
И сам я от этой работы
Железным и каменным стал.*

*...Я стал не большим, а огромным —
Попробуй тягаться со мной!
Как Башни Терпения, домны
Стоят за моею спиной.*

Какая историческая значимость личности предстаёт в этих стихах Ярослава Смелякова! Это вовсе не то, что декларации о “правах человека”. Ведь либеральное мышление потому и декларирует эти пресловутые “права человека”, что на сущностном, на метафизическом уровне не содержит в себе личностного начала и, в конце концов, оборачивается уничтожением личности:

*Я устал от двадцатого века,
От его окровавленных рек.
И не надо мне прав человека,
Я давно уже не человек...*

(Владимир Соколов)

Такая же значимость человека и в знаменитой в своё время смеляковской песне “Если я заболею”.

И вдруг такое пронзительное стихотворение в книге “Декабрь”, как бы отрицающее всю эту безбрежную романтику, пронизанную оптимизмом — “Я отсюдова уйду...”. Более того, называющее эту романтику “враньём”. И на основании этого с прежней предельной смеляковской прямоотой выносятся приговор, в том числе и самому себе: “Ежели поэты врут, больше жить не можно...”. Кажется, что эти стихотворения разных лет тем только и роднятся — только этим “бредом”. В раннем стихотворении: “Не сочтите, что это в бреду”; в позднем: “Бормочу в ночном бреду фельдшернице Вале...”:

*Я на всю честную Русь
Заявил смелея,
Что к врачам не обращусь,
Если заболею.*

*Значит, сдуру я наврал
Или это снится,
Что и я сюда попал,
В тесную больницу?*

*Медицинская вода
И журнал “Здоровье”.
И ночник, а не звезда
В самом изголовье.*

*Ни морей и ни степей,
Никаких туманов,
И окно в стене моей
Голо без обмана.*

*Я ж писал, больной с лица,
В голубой тетради
Не для красного словца,
Не для денег ради.*

*Бормочу в ночном бреду
Фельдшернице Вале:
“Я отсюдова уйду,
Зря меня поймали.*

*Укради мне — что за труд?! —
Ржавый ключ острожный”.*

*Ежели поэты врут,
Больше жить не можно.*

О каком “сломе”, о каком “надломе” поэта можно говорить после такого стихотворения?.. Что это — переоценка ценностей, отказ от прежних пристрастий и идеалов? Да нет же: “Я ж писал, больной с лица, // В голубой тетради // Не для красного словца, // Не для денег ради”.

Многое бы иной диссидентствующий автор отдал за то, чтобы его стихи были непроходимыми, то есть, по сути, запрещенными не по причине их политической прямолинейности, а стало быть, примитивности, выдаваемой за гражданскую смелость, а по каким-то иным причинам. У Ярослава Смелякова такое стихотворение есть, которое не вошло даже в его последнюю книгу “Декабрь”. И было впервые обнародовано Владимиром Цыбиным в воспоминаниях о Смелякове в “Дне поэзии” за 1980 год. Этот выпуск посвящен столетию А. Блока. Это стихотворение Смелякова “Голубой Дунай”.

Ну, казалось бы, что же тут такого “крамольного” может быть, если поэт говорит о простой женщине, Машке из рабочей слободы? Нет, не падшей, но всё же проявляющей слабость, какой Смеляков не позволял себе и не прощал другим. Ну, ладно, стихотворение “Жидовка” было непроходимым из-за известной “горечи”, из-за того, что были в нём “неудобные” вопросы. Но тут-то — простая рабочая женщина. Что же тут такого крамольного высказал поэт? Уж не то ли, что в связи с её судьбой и с “Голубым Дунаем” он расслышал “колокольчики России из степей и от саней”?.. Он постиг её истинную судьбу, о которой она и сама, “дура”, не подозревала. А вместе с тем и особенность той эпохи, когда ей довелось жить.

По свидетельствам очевидцев, Ярослав Васильевич читал это стихотворение в аудиториях чуть ли не со слезами на глазах, с обидой за Машку, за её такую добродушную и нелепую жизнь:

*После бани, в день субботний
Отдавая честь вину,
Я хожу всего охотней
В забегаловку одну.
Там, степенно выпивая,
Я стою наверняка.
В голубом дыму Дуная
Всё колеблется слегка.
Появляются подружки
В окружении ребят.
Всё стучат сильнее кружки,
Колокольчики звенят.
Словно в небе позывные,
С каждой стопкой всё слышней
Колокольчики России
Из степей и от саней.
Ни промашки, ни поблажки,
Чтобы не было беды.
Над столом тоскует Машка
Из рабочей слободы.
Пусть милиция узнает —
Ей давно узнать пора —
Машка сызнава гуляет
Чуть не с самого утра.*

*Не бедна и не богата —
Четвертинка в самый раз —
Заработана лопатой
У писателя сейчас.
Завтра утречком стирает
Для соседа бельецо.
И с похмелья напевает,
Что потеряно кольцо.
И того не знает, дура,
Полоскаючи бельё,
Что в России диктатура
Не чужая, а её...*

Вот в чём состояла крамольность этого стихотворения: в народном взгляде поэта на жизнь, в том, что, оказывается, простая Машка и есть хозяйин жизни в своей стране. Но, к сожалению, о том не ведающая... И что доказывает ся как текстом самого стихотворения, так и странной его судьбой...

Теперь, после очередной революции в России, “демократической”, после новых бедствий, пережитых нами за эти годы, разве не понятно то, о чём болела душа поэта, и разве большинство граждан не оказались в положении той же Машки из рабочей слободы?.. Что для нас было важнее: красивые декларации об освобождении от “тоталитаризма” или же реальное положение дел в стране? Давнее стихотворение поэта с учётом вновь приобретённого опыта открывается современному читателю новым смыслом.

7

Ярослава Смелякова пытаются теперь, задним числом, выставить таким прямолинейным трубадуром социализма, певцом советского строя и даже его идеологом, не ведающим сомнений. Более того, судя по себе, унижают невозможным — тем, что он якобы писал “верноподданнические” стихи. Или наоборот, якобы входящим в противоречие с советской действительностью. Не выходит, не получается, так как ни то, ни другое не имеет к нему отношения.

*Не знаю, как там будет дальше,
Но возраст свой в своём краю —
Без фанфаронства и без фальши —
Я никому не отдаю.*

Поразительна и эта постоянная тяга Ярослава Смелякова к истории. Причём к истории России на всю её доступную глубину, а не только советской эпохи. Он даже считал, что поэтическое ремесло “созданию истории подобно”, когда поэт — “радиостудий рядовой пророк, ремесленник журнальный и газетный”. Есть у него стихотворение “История”, в котором он и современность рассматривает не иначе, как с точки зрения её исторической значимости:

*И современники, и тени
В тиши беседуют со мной.
Острее стало ощущение
Шагов Истории самой.*

*Она своею тьмой и светом
Меня омыла и ожгла.
Все явственной её приметы,
Понятней мысли и дела.*

*Мне этой радости донныне
Не выпадало отродясь.
И с каждым днём нерасторжимей
Вся та преемственная связь.*

*Как словно я мальчонка в шубке
И за тебя, родная Русь,
Как бы за бабушкину юбку,
Спеша и падая, держусь.*

А в стихотворении “Надпись на “Истории России” Соловьёва”:

*История не терпит суесловья,
Трудна её народная стезя.
Её страницы, залитые кровью,
Нельзя любить бездумною любовью
И не любить без памяти нельзя.*

И в этой тяге поэта к истории чувствуется явное стремление “уточнить” тот или иной факт или событие. А они в поэтическом мире Ярослава Смелякова очень даже расходятся со стереотипными представлениями, преобладающими в обществе. Этим же стремлением можно объяснить и его обращение к историческим личностям – от Иоанна Грозного до Лермонтова, Есенина, Гагарина... И его представление об исторических личностях удивительно точны, но вместе с тем и непривычны, поскольку отличаются от расхожих и искажённых представлений, распространенных в общественном сознании. Как, скажем, в стихотворении “Кресло”, когда автор или персонаж “безрассудно смел по-хулигански в кресло это, как бы играючи, присесть” (кресло Иоанна Грозного):

*Урока мне хватило слишком,
Не описать, не объяснить,
Куда ты вздумал лезть, мальчишка?
Над кем решился пошутить?*

Мало кто из современников поэта имел такую историческую осмыслительность и такую трезвую самооценку. Не говорю уже о нынешних авторах идеологизированных и спекулятивных писаний о первом русском царе, кажется, заполонивших всё информационное пространство – от так называемых исторических исследований и книг до кинофильмов...

Или в стихах, посвящённых М. Лермонтову:

*Он был источник дерзновенный
С чистейшим привкусом беды,
Необходимый для Вселенной
Глоток живой воды.*

А в другом стихотворении:

*О, этот Лермонтов могучий,
Сосредоточась, добр и зол,
Как бы светящаяся туча,
По небу русскому прошёл.*

Очень характерно в этом отношении стихотворение Ярослава Смелякова, посвящённое декабристам – “Декабрьское восстание”, содержащее в себе полемику: противопоставление декабризма и народного Декабрьского восстания. Остановлюсь на этом стихотворении подробнее, так как тема декабристов как в исторической литературе, так и в общественном сознании слишком уж замутнена и запутана. Романтизирована без всяких на то оснований и, в общем-то, далека от истолкования её истинного значения. И для этого есть свои мировоззренческие и идеологические причины, остающиеся актуальными вплоть до сегодняшнего дня.

*Я не о той когорте братской,
нельзя которую забыть,
и что на площади Сенатской
пытались ложу учредить.*

*...Я о декабрьской Красной Пресне,
о той, где ты, Советов власть,
подобно первым строкам песни,
в пелёнках красных родилась.*

Примечательно, что в этом противопоставлении революционеров и народа “когорта братская” не отрицается вовсе: Ярослав Смеляков не доходит до максимализма Ф. Тютчева в известном его стихотворении “14 декабря 1825”, в котором декабристы – “жертвы мысли безрассудной”:

*Вас развертило Самовластье,
И меч его вас поразил.*

*...Народ, чуждаясь вероломства,
Поносит ваши имена —
И ваша память от потомства,
Как труп в земле, схоронена.*

И в то же время понимание декабристов Ярославом Смеляковым (“пытались ложу учредить”) далеко от их романтизации и героизации советской ортодоксальной исторической наукой, согласно ленинской “периодизации освободительного движения” в России: “...Декабристы разбудили Герцена...”. Как это ни покажется странным, (хотя и вполне понятным), но и досоветские, и даже антисоветские авторы, по сути, в равной мере предавались романтизации и героизации декабристов, солидаризуясь в этом с советскими историками. Факт более чем примечательный. В самом деле: менялись времена, формации, уклады жизни, идеологии, но тема декабризма оставалась неприкасаемой и “святой”. Иллюстрацией этого может послужить цикл стихотворений Зинаиды Гиппиус “14 декабря”, “14 декабря 17 года”, “14 декабря 18 года”.

На первый взгляд, трудно понять, по какой такой логике в мировоззрении интеллигентов той поры, в том числе и Зинаиды Гиппиус, романтизация и героизация революционеров-декабристов сочеталась с ненавистью к той революции, которая совершилась. Ведь, казалось бы, именно этого они жаждали, именно это они приближали. Ан нет. Декабристы для неё – “первенцы свободы”, “чистые герои” в “саванах святых”, явившие “ослепительный завет”. Революция представлялась в образе “Невесты”, как некий “освободительный костёр”. И вот революция совершилась, но она оказалась вовсе не такой, какой представлялась, “нехорошей”:

*Простят ли чистые герои?
Мы их завет не сберегли.
Мы потеряли всё святое:
И стыд души, и честь земли.*

*Мы были с ними, были вместе,
Когда надвинулась гроза.
Пришла Невеста... И Невесте
Солдатский штык проткнул глаза.*

*Ночная стая свищет, рыщет,
Лёд на Неве кровав и пьян...
О, петля Николая чище,
Чем пальцы серых обезьян!*

Революционерка, жаждавшая “освободительного костра”, а значит, и крови, становится вдруг рьяной контрреволюционеркой, так как революция не оправдала её надежд, оказавшись такой ужасной: “Россией сейчас распоряжается никчёмная кучка людей, к которой вся остальная часть населения в громадном большинстве относится отрицательно и даже враждебно. Получается истинная картина чужеземного завоевания. Латышские, башкирские и китайские полки (самые надёжные) дорисовывают эту картину. Из латышей и монголов составлена личная охрана большевиков: китайцы расстреливают

арестованных – захваченных. ... Чем не монгольское иго?” (“Черная книжка”. В кн. “Под созвездием топора”. М., “Советская Россия”, 1991). Ну, а разве может быть иначе, когда во имя неких романтически-людоедских идей порушена государственность и воцарилось беззаконие? Как, пробуждая беззаконие, можно ожидать некой “Невесты” во всей её чистоте?

Что же произошло? Совершилась “не такая” революция? Прозрение, эволюция во взглядах? Но история человечества не знает революций без насилия, явившихся в образе некой чистой “Невесты”. А значит, никакая это не эволюция во взглядах, а обыкновенная непрозорливость... И столь резкая перемена во взглядах – от революционных к контрреволюционным – является всего лишь свидетельством ложной мировоззренческой установки. Неразличением того, из какой идеи или слова что именно неизбежно истекает в действительности.

Да и не ново это для “интеллигентного общества”, раздувающего “освободительный костёр” революции, разочаровываться в её результатах. Так ведь было и после Французской революции, так бывает после каждой революции.

В самом деле, трудно себе представить, что же это такое – “освободительный костёр” революции: как “костёр” может быть “освободительным”? Уничтожительным он является, а не “освободительным”. Да и как слепая стихия может уразуметь и выбрать – сжечь только ненужное и оставить необходимое?.. Да и кто определит, что – лишнее, а что – необходимое?..

Неслучайно об этом “костре”, о котором Зинаида Гиппиус писала в 1909 году, желая его, пробуждая его, с такой жесткостью напомним в 1918 году Александр Блок в статье “Интеллигенция и революция”. И думается, что именно это напоминание о “костре” революции, а не призыв слушать “музыку революции”, вызвало такую ненависть к поэту со стороны либеральной интеллигенции. Ведь поэт с беспощадной логикой уличает интеллигенцию в недомыслии и непрозорливости... Кому же понравится такое обвинение, тем более что оно было совершенной правдой: “Горе тем, кто думает найти в революции исполнение только своих мечтаний, как бы высоки и благоразумны они ни были... Я не сомневаюсь ни в чьём личном благородстве, ни в чьей личной скорби; но ведь за прошлое – отвечаем мы? Мы – звенья единой цепи... Значит, рубили тот сук, на котором сидели? Жалкое положение: со всем сладострастием ехидства подкладывали в кучу отсыревших под снегами и дождями коряг – сухие полешки, стружки, щепочки; а когда пламя вдруг вспыхнуло и взвилось до неба (как знамя), – бегать кругом и кричать: “Ах, ах, сгорим!”.

Справедливо отмечала доктор исторических наук Оксана Киянская: “В какой-то чрезмерной любви к крестьянству членов российских тайных обществ того времени – аристократов, в большинстве своём прагматиков, реалистов – трудно заподозрить. Практически никто из них, владельцев разной величины поместий, не отпустил крестьян на волю... Тот же Пестель планировал после революции установить десятилетнюю военную диктатуру именно для того, чтобы не допустить массовых выступлений, бунтов “бессмысленных и беспощадных” (“Литературная газета”, № 52, 2005). Разве не то же самое, но уже не в “планах”, а практически осуществлялось Лениным? Когда происходило самое жестокое подавление народа, чтобы ни о каком бунте он даже и думать не смел?”

Конечно, главным побуждением декабристов к заговору были не пресловутые “чаяния народа”, на которые, как на основной довод, бесконечно ссылались задним числом. Судя по их высокому социальному положению, причиной была неудовлетворённость иного порядка – желание более высокого положения в обществе, гордыня и т. д. Мы не сомневаемся в личном благородстве каждого из участников тайных обществ, не можем отрицать их образованности и одарённости, так же как и того, что потом, оказавшись “во глубине сибирских руд”, они внесли большой вклад в развитие общества. Но это уже – потом. Мы же говорим о революционном движении, в котором они участвовали. Выводить их благородство из понятной жалости и сострадания – значит, не совсем точно понимать явление. Ведь реакция власти на тех, кто встал на революционный путь, подвергая опасности не только себя, но и многих других людей, должна была быть именно соответствующей. Иначе что же это за власть, не защищающая не только себя, но и – общество, народ, страну?

История, как известно, не знает сослагательного наклонения. Но представим себе, что довольно обширный круг людей высшего света, людей об-

разованных, действительно благородных, души которых *страданиями человеческими уязвлены стали*, начали бы отпускать своих крестьян на волю. И это приобрело бы массовый характер... Да, это тоже был бы вызов самодержавной власти, но не революционный, и реакция на него была бы иной. В таком случае история освобождения от крепостного права в России была бы совсем другой... Но тогда не было бы благородных мучеников, воспевание которых более ста восьмидесяти лет служит, кажется, единственной цели – поддержанию в обществе, в науке, в литературе *революционного сознания* как якобы единственно прогрессивного и положительного...

О том же, до какой степени природа революций остаётся в общественном сознании не уяснённой и тщательно скрываемой, свидетельствует и то, что апологией революционности декабристов в равной мере были заняты как антисоветские исследователи, так и советские учёные. Так, в оценке революционного декабризма с Зинаидой Гиппиус, по сути, смыкается член-корреспондент Российской академии наук Николай Скатов (“Фаланга героев”, “Литературная газета”, № 4, 2011). Такое совпадение может свидетельствовать только об одном: люди оперируют одним и тем же понятием революционности, но вкладывают в него прямо противоположный смысл.

Рассматривать же декабризм как “эстетический феномен”, “как великое явление человеческого духа”, выискивать эстетику в революционном варварстве можно лишь, говоря об их деятельности в Сибири, после восстания. Но собирались они творить дела далеко *не эстетические*, а кровавые, “вырезать Романовых”, уничтожать самодержавие... И никто не знал, каким будет исход предпринятого ими “дела”...

Из того, что их кровавое дело не удалось, никак не следует, что они, заранее понимая свою обречённость, теряли всё, не получая ничего. Из этого следует лишь то, что они неверно оценили состояние общества и народа и преувеличили свою значимость. Но это – вовсе не благородство.

Вообще *революционность*, рассматриваемая как главное содержание российской истории и национальной жизни, – явление довольно странное. Уже хотя бы потому, что это – обоснование нескончаемых революций в России, а значит, нескончаемых социальных катастроф и бед. Кроме того, это какая-то человеческая и гражданская безответственность, если не злой умысел. *Всё многообразие многовековой народной и государственной жизни свести лишь к “освободительному движению”, лишь к истории бунтарства и революций...* Словно ничего иного за эти века в России и не происходило...

О возможности такой подмены *истории страны и народа историей революционного движения*, историей “интеллигентного общества” прозорливо писал Ф. М. Достоевский в “Объяснительном слове по поводу речи о Пушкине 1880 года”. Логику и позицию этого западнически настроенного “интеллигентного общества” он представлял так: “В народе русском, так как уж пришло время высказаться вполне откровенно, мы по-прежнему видим лишь косную массу, у которой нам нечему учиться, тормозящую, напротив, развитие России к прогрессивному лучшему, и которую всю надо пересоздать и переделать, – если уж невозможно и нельзя органически, то, по крайней мере, механически, то есть попросту заставить её раз навсегда нас слушаться, во веки веков. А чтобы достигнуть сего послушания, вот и необходимо усвоить себе гражданское устройство точь-в-точь как в европейских землях; о которых именно теперь пошла речь. Собственно же народ наш нищ и смерд, каким он был всегда, и не может иметь ни лица, ни идеи. Вся история народа нашего есть абсурд, из которого вы до сих пор чёрт знает что выводили, а смотрели только мы трезво. Надобно, чтоб такой народ, как наш, – не имел истории, а то, что имел под видом истории, должно быть с отвращением забыто им, все целиком. Надобно, чтоб имело историю лишь одно наше интеллигентное общество, которому народ должен служить лишь своим трудом и своими силами”.

Что стоит за этой не прекращающейся подменой истории народа и страны историей революций – общая догматичность сознания, безответственность, своеобразная ментальность, почитающая передовым и прогрессивным только и исключительно революционное? Видимо, всё, вместе взятое...

Я понимаю, сколь далеко я отвлекся от творчества Ярослава Смелякова, впад в объяснение декабризма. Но это, во-первых, очень важный аспект нашей истории. Во-вторых, для такого отвлечения даёт повод стихотворение Ярослава Смелякова “Декабрьское восстание”, свидетельствующее о том, насколько глубоко понимал историю и судьбу России поэт.

Ведь, казалось бы, всего одна строчка поэта, — “и что на площади Сенатской пытались ложу учредить”, — но за ней встаёт целая эпоха нашего общественного и государственного состояния. С его не просто антисамодержавным, но антинародным и антирусским мартинизмом якобинского толка, продолжившимся в декабризме. Ведь декабристы, как и все, принадлежащие к этому бунтарскому направлению мысли, ставили задачей свержение всякой, по определению, власти в России, упразднение Православия как опоры самодержавия. На фоне этих давних не только умонастроений, но и практических действий в ином значении предстаёт и Декабрьское восстание, противопоставленное в стихотворении Ярослава Смелякова “когорте братской”.

8

Мы видим, как в советский период истории, во всяком случае, в годы Великой Отечественной войны и в послевоенное время, шло последовательное преодоление революционного сознания. Это, пожалуй, с наибольшей полнотой выразилось в творчестве Ярослава Смелякова.

Книга стихотворений Ярослава Смелякова “День России”, вышедшая в издательстве “Советский писатель” в 1967 году, свидетельствовала о том, что трудный путь от идеологического мародёрства в русской литературе к её восстановлению был в основном пройден. И пройден был со страшными потерями — уничтожением многих выдающихся поэтов. В этом смысле, без всякого сомнения, книга Ярослава Смелякова “День России” явилась событием огромной важности, некоей вехой в русской литературе советского периода, в общественном сознании, обойти или не заметить которую невозможно. Примечательно, что даже не за книгу, а за цикл стихотворений, опубликованных в пятом номере журнала “Дружба народов” за 1966 год, Ярослав Смеляков был удостоен Государственной премии.

Это возвращение от идеологической ортодоксии к подлинной истории и народному самосознанию не было простым и безоблачным, о чём свидетельствовала “оттепель” — новый рецидив революционного сознания. Для народа это было, конечно же, “похолоданием”, а для идеологически озабоченной интеллигенции — “оттепелью”, которая с этого рубежа перестаёт быть в полной мере с народом...

Обращаясь к той или иной странице русской истории, Ярослав Смеляков, тем самым, конечно же, говорил, прежде всего, о своём времени, о современности, о понимании им судьбы России и её истории во временном развитии.

— Но как обстоит дело в стихах поэта с собственно современностью? — может спросить читатель. Хотя, конечно, *современность* в оценке поэтических творений не является ни универсальной, ни обязательной. Но уж коли требование современности в литературе стало у нас таким повсеместным, с этой точки зрения — постижения современности — мне представляется примечательным небольшой цикл стихотворений Ярослава Смелякова “Один день”. Попутно отметим, что наша публика, ещё совсем недавно активно читавшая, хорошо помнит лагерное писание “Один день Ивана Денисовича”, находя в нём какие-то невероятные откровения и глубины, но вряд ли помнит цикл стихотворений Ярослава Смелякова “Один день”. Но такая переключка названий не случайна, в ней чувствуется внутренняя полемика. Главное же состоит в том, что “Один день Ивана Денисовича” А. Солженицына знала и всё ещё помнит недавно читавшая публика, а “Один день” Ярослава Смелякова она, кажется, и вовсе не заметила. Между тем, в этом небольшом цикле стихотворений поэт касался самых насущных проблем своего времени. И они ему представлялись иными, чем они представляли в литературе и общественной мысли того времени. Он касался проблем более важных, чем *лагерная* тематика.

Может показаться странным, что название цикла — “Один день” — для него вовсе и не обязательно. Это — один день автора или лирического героя, который “с писательской командировкой попал в сибирский городок”. Более того, это воспоминания *пятилетней* давности о том, что же он увидел в том городке в течение одного дня. Дело в том, что автор или лирический герой, “смотря не ловко, и в тайной жажде новых строк”, оказался в сибирском городке, который ещё совсем недавно вёл свой быт по старине, но для которого наступили совсем иные времена:

*Но вот по заданному сроку,
Под гром литавр и шум газет,
Здесь началась неподалёку
Большая стройка наших лет.*

*Она с конторами своими,
Самонадеянно смела,
Его неведомое имя
Себе решительно взяла.*

*Она, не спрашиваясь, сразу,
Желая действовать скорей,
Его пустынные лабазы
Набила техникой своей.*

Ирония по отношению к этой большой стройке (“под гром литавр и шум газет”) и даже некоторое осуждение её (“самонадеянно смела”, и даже искомное имя городка “себе решительно взяла”) — всё это свидетельствовало о том, что поэт относился к этим большим стройкам и большим переменам вроде бы так, как это было распространено, с точки зрения экологической, а значит, протестной, и не более того. Но в стихах Ярослава Смелякова здесь обнаруживается совсем иной аспект проблемы, неведомый социальному, позитивистскому и бытописательскому подходу. Это скорее некий психологический и даже психический аспект, непременно сопровождающий все эти великие стройки и большие перемены, всякие социальные потрясения:

*У каждой славы есть изнанка:
Как, надо думать, не с добра
У забегаловки цыганка
Плясала пьяная с утра.*

И эта барахолка, ходившая “то чуть не плача, то смеясь” — психологический аспект того же потрясения:

*Она задаром отдавала —
Ей прибыль нынче не с руки —
Свою герань и одеяла,
Свои корыта и горшки.*

*Ведь не в далёкости, а вскоре
Весь городок убогий тот
Под волны будущего моря
В пучину тёмную уйдёт.*

*Оно одно самодержавно
Ходить на воле будет тут,
И только полочки и ставни
Со дна глубокого всплывут.*

*Что ж делать, если это надо?!
И городок последних дней
Находит горькую усладу
В заздравной гибели своей.*

“Заздравная гибель” — это, конечно, нечто совсем необычное в той, скажем так, проблематике, которой поэт касался в цикле стихотворений. Но в целом, казалось бы, остался в пределах общепринятых представлений: надвигающаяся цивилизация, разрушительная и безжалостная и — протест против неё. Если бы поэт не поведал об ином, вроде бы не имеющем отношения к судьбе этого обречённого сибирского городка. Он, “не тратя времени задаром”, прогуливаясь по городку, вдруг увидел “рубленную башню”:

*Она недвижно простояла,
Как летописи говорят,
Не то чтоб много или мало,
А триста с лишним лет подряд.*

*В её узилище студёном,
Двуперстно осеняя лоб,
Ещё тогда, во время оно,
Молился ссыльный протопоп.*

*...Мятежный пастырь, книжник дикий,
Он не умел послушным быть,
И не могли его владыки
Ни обломать, ни улестить.*

Казалось бы, при чём тут протопоп Аввакум? Неужто лишь потому, что автору случайно и вдруг попала на глаза рубленая башня – то узилище, в котором он пребывал? Да нет, конечно же, нет. Судьба этого сибирского городка представлена в стихах как бы прямым продолжением той далёкой духовной драмы, в которой протопоп Аввакум оказался столь стоек и непреклонен. Да, конечно, “другой какой-нибудь народ” в своей истории “полупохожих и подобных средь прародителей найдёт”. И всё же личность протопопа Аввакума есть нечто особенное, небывалое в других народах, кроме как в нашем, русском:

*Но этот — крест на грязной шее,
В обносках мерзостно худых —
Мне и дороже и страшнее
Иноязычных, не своих.*

*Ведь он оставил русской речи
И прямоту, и срамоту,
Язык мятежного предтечи,
Священный, как уголь во рту.*

Конечно же, протопоп Аввакум предстаёт тут, в этой новой трагедии, совсем не случайно.

Затем вдруг автор, вроде бы и вовсе ни к чему, описывает похоронную процессию, попавшуюся на его пути. Он даже не спросил у жителей, “кого тем утром неспешно к последней пристани везли”. Его лишь поразило то, что за нестройной маленькой толпой к последней пристани сопровождали человека выстроившиеся длинным цугом “строительства грузовики”:

*Надолго в памяти осталось,
Как, все домишки шевеля,
Под их колёсами шаталась
И лезла в сторону земля.*

*...Я всё стоял с пустым блокнотом
И непокрытой головой,
Пока за дальним поворотом
Эскорт не скрылся грузовой.*

Итак, автор остался “с пустым блокнотом”. То есть всё увиденное им тогда в течение одного дня показалось ему то ли не столь значимым, то ли не постижимым. И вот пять лет спустя, припоминая увиденное, автор, надо полагать, и воплотил его в этом небольшом цикле стихотворений “Один день”. Но тут он снова озадачивает читателя:

*За малый труд не ожидая
Ни осужденья, ни похвал,*

*Я сам не очень понимаю,
Зачем всё это написал.*

Всё это могло бы показаться лишь прихотью поэта, если бы за ним явно не просматривалась общая закономерность искусства минувшего революционного двадцатого века. Об этой закономерности писал Александр Блок в статье “Три вопроса”, что перед художником всегда встаёт вопрос о формах искусства – как; вопрос о содержании его – что. Но когда “улица ворвалась в мастерскую”, когда наступает время “всеобщего базарного сочувствия и опошления искусства”, – “в такие дни возникает третий, самый соблазнительный, самый опасный, но и самый русский вопрос: зачем? Вопрос о необходимости и пользе художественных произведений”. И Ярослав Смеляков задаёт этот самый трудный вопрос, не находя, однако, на него ответа. Он пишет о вероятном и возможном оправдании поэта:

*Мне б оправданьем послужило
Лишь то, скажу накоротке,
Что это в самом деле было
В том утонувшем городке.*

*Да то ещё, что стройка эта,
Как солнце вешнее в окне,
Дает сегодня море света
Не городку, а всей стране.*

Всё было бы просто, если бы здесь у поэта была утвердительная интонация. Тогда его вполне можно было бы отнести, так сказать, к певцам индустриализации. Но у него здесь – и сомнение, и железная необходимость, и сожаление, и неизбежность происходящего. И это придаёт полноту его мироощущению и его творчеству.

Как видим, это нечто совсем иное, чем мы встречали в подобных сюжетах у других писателей, хотя бы в повести “Прощание с Матёрой” Валентина Распутина: не только плач по утонувшей Матёре. Но и не безусловное оправдание такой индустриализации со всей её неизбежностью. Перед нами – трагедия, стоящая в одном ряду с трагедией протопопа Аввакума, как бы являющаяся её продолжением, необходимым следствием её.

В связи с этим нельзя теперь, по прошествии времени, не подивиться тому, каким всё-таки упрощённым было восприятие русской литературы советского периода истории нашей страны. Повесть “Прощание с Матёрой” – повесть о потопе, развивающая библейскую тему, критикой была сведена лишь к проблеме экологии. Словно она была написана журналистом, а не художником слова. Да ещё с некоторой оппозиционностью к власти: ведь это она провоцировала катастрофы, строя гидроэлектростанции (словно их строить не следовало, хотя промышленность, безусловно, нужно было развивать)...

Создавалось такое ощущение, будто в нашей литературе не было “Медного всадника” А. С. Пушкина, к стати, при жизни поэта так и не опубликованного, с его “стихией” и “Божьим гневом”, с которым и “царям не совладеть”... Просто анализировалась экологическая проблема, словно её можно разрешить написанием повестей...

Ярослав Смеляков являет совершенно иное свойство литературы – не только советской и не только “проблемной”, но традиционное для русской литературы постижение мира созерцанием и размышлением о происходящих событиях.

Ярослав Смеляков не был интеллигентом в том смысле, какой была интеллигенция в России во второй половине XIX века и на рубеже XIX–XX веков, и какой она стала в советское время. “Ругать власть” снова стало для неё мерилом интеллектуальности и гражданской смелости. Вне зависимости от доводов, объективных фактов и оснований. Советская интеллигенция выродилась в “интеллигентщину”, по словам Н. Бердяева, постепенно “дичающую”, по определению А. Блока.

Совсем иным был Ярослав Смеляков, по-своему понимавший гражданственность в литературе. Вовсе не как бунт, непременно бессмысленный и зача-

стю беспричинный. По “традиции”, издавна сложившейся в России, он не принадлежал к такой интеллигенции, точнее — “интеллигентщине”. Он был лишён интеллигентского мундира так же, как и его великие предшественники: Ф. Достоевский, Л. Толстой, А. Чехов... Как, впрочем, и подавляющее большинство истинно русских писателей. Так что и в этом Ярослав Смеляков оказался в русле традиции русской литературы.

Да, Ярослава Смелякова можно назвать выразителем советской эпохи, но только не в том её идеологическом значении, которое ей придаётся, когда советское приравнивается к революционному.

Ярослав Смеляков был выразителем той эпохи, в которой уже не торжествовало “революции дело” в том виде, как оно представлено в стихотворении, отмеченном скандальной публикацией. “Дело”-то ведь страшенькое... Но когда уже сложилась “диктатура” Машки “из рабочей слободы”, о которой она, по простоте душевной, не знала...

Можно ли такого поэта назвать певцом революционных идеалов, “революции дела”? Конечно же, нет. Такое “революции дело” он явно осуждает и отворачивается от него.

В мировоззрении Ярослава Смелякова чётко разделяется революция как народное действо — “народного гнева заря” — и революция как слепая стихия, анархизм и беззаконие. И тут поэт, как это ни покажется странным, в определённой мере даже защищает царя:

*Недолго, от радости спятив,
Присяжный болтун и нахал
Валялся на царской кровати
И роль*

полководца

играл.

*Фигляр беспощадный и жалкий
Не дал никому ничего;
Валяется где-то на свалке —
И чёрт с ней! —*

фуражка

его.

Надо, безусловно, обладать невероятной силой духа, широтой души, остротой ума, чтобы свою юность, проведённую на нарах, назвать прекрасной:

*Я знал, проживая в столице,
В двухкомнатном тёплом раю,
Что мне не дано возвратиться
В прекрасную юность свою.*

Да, молодость поэта оказалась переполненной испытаниями. Но это была его молодость — бурная и неповторимая, и тем уже прекрасная. Поэт являет нам человеческое представление о ней, а не идеологическое и уж тем более не политическое. Это — не апология и не оправдание советского периода истории нашей страны, но точное постижение его содержания и значения. И чем дальше мы удаляемся от него по бездорожью нового революционного беззакония, тем явственнее ощущаем прозорливость и правоту поэта. Обратиться же к творческому наследию Ярослава Смелякова нас побуждает и то, что общая картина русской литературы советского периода истории России последовательно искажалась и искажается. На переломе 1950–1960-х годов идея гибели русской культуры после Октябрьской революции сменилась концепцией “золотого века” советской литературы. Но “любопытно, что к нетленным шедеврам “золотого века” отнесены либо откровенно второстепенные книги, являющие собой боковую ветвь пореволюционного искусства... Либо произведения писателей, покинувших родину или ставших внутренними эмигрантами” (Л. Ф. Ершов, Е. А. Никулина, Г. В. Филиппов, “Русская советская литература 30-х годов”. М., “Высшая школа”, 1978).

Может быть, теперь, в наше литературное безвременье, когда новым переустроителям нашей общественной жизни на революционных началах оказа-

лось не до литературы, обращение к её славным страницам особенно необходимо и плодотворно. Ведь вопрос о русской литературе “решён” самым варварским и беспрецедентным для России способом – её изъятием из общественного сознания, изгнанием из образования, подменой её детективно-приключенческими суррогатами, бездарной развлекаловкой. И, может быть, именно в такое время и надо обращаться к литературе, являть её новое прочтение, пока она опять не стала делом “партийным”...

Ярослав Смеляков принадлежал к той плеяде писателей, в творчестве которых русская литературная традиция после её революционного погрома начала минувшего века наконец-то восстановилась. Сказать, что он был советским поэтом, – значит, только запутать и представление о тогдашней литературе, и исказить его роль в ней. Он был большим русским поэтом советского периода истории нашей страны.

ЯРОСЛАВ СМЕЛЯКОВ

1913—1972

ВОЗВРАЩЁННАЯ РОДИНА

*17 сентября 1939 года части
Красной Армии вошли в город Луцк...*

Я родился в уездном городке
и до сих пор с любовью вспоминаю
убогий домик, выстроенный с краю
проулка, выходившего к реке.

Мне голос детства памятен и слышен.
Хранятся смутно в памяти моей
гуденье липы и цветенье вишен,
торговцев крик и ржанье лошадей.

Мне помнятся вечерние затоны,
вельможные брюхатые паны,
сияющие крылья фаэтонов
и офицеров красные штаны.

Здесь я и рос. Под этим утлым кровом
я, спотыкаясь, начинал ходить,
здесь услышал — впервые в жизни! — слово,
и здесь я научился говорить.

Так мог ли я, изъездивший полсвета,
за воду ту, что он давал мне пить,
за горький хлеб, за лёгкий лепет лета,
за первый день — хотя бы лишь за это —
тот городок уездный не любить?

Нет, я не знал беспечного покоя:
мне снилась ночью нищая страна,
бетонною, враждебною чертою,
прямым штыком и пулей разрывною
от сердца моего отделена.

Я думал о товарищах своих,
оставшихся влачить существованье
в местечках страха, в городках стенанья,
в домах тоски на улицах кривых.

Я вспоминал о детях воеводства,
где на полях один пырей возрос,
где хлеба — впроголодь, а горя — вдосталь
и вдоволь, вволю материнских слёз.

Так как же мне, советскому поэту,
не славить вас, бойцы моей земли,
за жизни шум — хотя бы лишь за это! —
хотя б за то, что в жёлтых тучах света
в мой городок вы с песнею вошли?

1939

НА ВОКЗАЛЕ

Шумел снежок над позднею Москвой,
гудел народ, прощаясь на вокзале,
в тот час, когда в одежде боевой
мои друзья на север уезжали.

И было видно всем издалека,
как непривычно на плечах сидели
тулупчики, примятые слегка,
и длинные армейские шинели.

Но было видно каждому из нас
по сдержанным попыткам веселиться,
по лицам их, — запомним эти лица! —
по глубине глядящих прямо глаз,

да, было ясно всем стоящим тут,
что эти люди, выйдя из вагона,
неотвратно, прямо, непреклонно
походкою истории пойдут.

Как хочется, как долго можно жить,
как ветер жизни тянет и тревожит!
Как снег валится!
Но никто не сможет,
ничто не сможет их остановить.

Ни тонкий свист смертельного снаряда,
ни злобный гул далёких батарей,
ни самая тяжёлая преграда —
молчанье жён и слёзы матерей.

Что ж делать, мать?
У нас давно ведётся,
что вдаль глядят любимые сыны,
когда сердце невидимо коснётся
рука патриотической войны.

В расстёгнутом тулупчике примятом
твой младший сын, упрямо стиснув рот,
с путёвкой своего военкомата,
как с пропуском, в бессмертие идёт.

1940

* * *

Если я заболею,
к врачам обращаться не стану.
Обращаюсь к друзьям
(не сочтите, что это в бреду):
постелите мне степь,
занавесьте мне окна туманом,
в изголовье поставьте
ночную звезду.

Я ходил напролом.
Я не слыл недотрогой.
Если ранят меня
в справедливых боях,
забинтуйте мне голову
горной дорогой
и укройте меня
одеялом в осенних цветах.

Порошков или капель — не надо.
Пусть в стакане сияют лучи.
Жаркий ветер пустынь,
серебро водопада —
вот чем стоит лечить.

От морей и от гор
так и веет веками,
как посмотришь — почувствуешь:
вечно живём.

Не облатками белыми
путь мой усеян, а облаками.
Не больничным от вас ухожу коридором,
а Млечным Путём.

1940

ЗЕМЛЯ

Тихо прожил я жизнь человеческую:
ни бурана, ни шторма не знал,
по волнам океана не плавал,
в облаках и во сне не летал.

Но зато, словно юность вторую,
полюбил я в просторном краю
эту чёрную землю сырую,
эту милую землю мою.

Для неё ничего не жалея,
я лишился покоя и сна,
стали руки большие темнее,
но зато посветлела она.

Чтоб её не кручинились кручи
и глядела она веселей,

я возил её в тачке скрипучей
так, как женщины возят детей.

Я себя признаю виноватым,
но прощенья не требую в том,
что её подымал я лопатой
и валил на колени кайлом.

Ведь и сам я, от счастья бледнея,
зажимая гранату свою,
в полный рост поднимался над нею
и, простреленный, падал в бою.

Ты дала мне вершину и бездну,
подарила свою широту.
Стал я сильным, как тёрн, и железным —
даже окиси привкус во рту.

Даже жёсткие эти морщины,
что на лбу и по щёкам прошли,
как отцовские руки у сына,
по наследству я взял у земли.

Человек с голубыми глазами,
не стыжусь и не радуюсь я,
что осталась земля под ногтями
и под сердцем осталась земля.

Ты мне небом и волнами стала,
колыбель и последний приют...
Видно, значишь ты в жизни немало,
если жизнь за тебя отдают.

1945

ПОРТРЕТ

Сносились мужские ботинки,
армейское вышло бельё,
но красное пламя косынки
всегда освещало её.

Любила она, как отвагу,
как средство от всех неудач,
кусочек октябрьского флага —
осеннего вихря кумач.

В нём было бессмертное что-то:
останется угол платка,
как красный колпак санкюлота
и чёрный веноч моряка.

Когда в тишину кабинетов
её увлекали дела —
сама революция это
по каменным лестницам шла.

Такие на резких плакатах
печатались в наши года
прямые черты делегатов,
молчащие лица труда.

1945

КЛАДБИЩЕ ПАРОВОЗОВ

Кладбище паровозов.
Ржавые корпуса.
Трубы полны забвенья.
Свинчены голоса.

Словно распад сознания —
полосы и круги.
Грозные топки смерти.
Мёртвые рычаги.

Градусники разбиты —
цифирки да стекло —
мёртвым не нужно мерить,
есть ли у них тепло.

Мёртвым не нужно зренья —
выкрошены глаза.
Время вам подарило
вечные тормоза.

В ваших вагонах длинных
двери не застучат,
женщина не засмеётся,
не запоёт солдат.

Вихрем песка ночного
будку не занесёт.
Юноша мягкой тряпкой
поршни не оботрёт.

Стали чугунным прахом
ваши колосники.
Мамонты пятилеток
сбили свои клыки.

Эти дворцы металла
строил союз труда:
слесари и шахтёры,
сёла и города.

Шапку сними, товарищ.
Вот они, дни войны.
Ржавчина на железе,
щёки твои бледны.

Произносить не надо
ни одного из слов.
Ненависть молча зреет,
молча цветёт любовь.

Тут ведь одно железо.
Пусть оно учит всех.
Медленно и спокойно
падает первый снег.

1946

МОЁ ПОКОЛЕНИЕ

Нам время недаром даётся.
Мы трудно и гордо живём.
И слово трудом достаётся,
и слава добыта трудом.

Своей безусловною властью,
от имени сверстников всех,
я проклял дешёвое счастье
и лёгкий развеял успех.

Я строил окопы и доты,
железо и камень тесал,
и сам я от этой работы
железным и каменным стал.

Меня — понимаете сами —
чернильным пером не убить,
двумя не прикончить штыками
и в три топора не свалить.

Я стал не большим, а огромным —
попробуй тягаться со мной!
Как Башни Терпения, домны
стоят за мою спиной.

Я стал не большим, а великим,
раздумье лежит на челе,
как утром небесные блики
на выпуклой голой земле.

Я начал — векам в назиданье —
на поле вчерашней войны
торжественный день созиданья,
строительный праздник страны.

1947

ЖИДОВКА

Прокламация и забастовка,
Пересылки огромной страны.
В девятнадцатом стала жидовка
Комиссаркой гражданской войны.

Ни стирать, ни рожать не умела,
Никакая не мать, не жена —
Лишь одной революции дело
Понимала и знала она.

Брызжет кляксы чекистская ручка,
Светит месяц в морозном окне,
И молчит огнестрельная штука
На оттянутом сбоку ремне.

Неопрятна, как истинный гений,
И бледна, как пророк взаперти,—
Никому никаких снисхождений
Никогда у неё не найти.

Только мысли, подобные стали,
Пронизали её житиё.
Все враги перед ней трепетали,
И свои опасались её.

Но по-своему движутся годы,
Возникают базар и уют,
И тебе настоящего хода
Ни вверху, ни внизу не дают.

Время всё-таки вносит поправки,
И тебя ещё в тот наркомат
Из негласной почётной отставки
С уважением вдруг пригласят.

В неподкупном своём кабинете,
В неприкаянной келье своей,
Простодушно, как малые дети,
Ты допрашивать станешь людей.

И начальники нового духа,
Веселясь и по-свойски грубя,
Безнадёжно отсталой старухой
Сообща посчитают тебя.

Все мы стоим того, что мы стоим,
Будет сделан по-скорому суд —
И тебя самоё под конвоем
По советской земле повезут.

Не увидишь и малой поблажки,
Одинаков тот самый режим:
Проститутки, торговки, монашки
Окружением будут твоим.

Никому не сдаваясь, однако
(Ни письма, ни посылочки нет!),
В полутёмных дощатых бараках
Проживёшь ты четырнадцать лет.

И старухе, совсем остролицей,
Сохранившей безжалостный взгляд,
В подобрешее лоно столицы
Напоследок вернуться велят.

В том районе, просторном и новом,
Получив как писатель жильё,
В отделении нашем почтовом
Я стою за спиною её.

И слежу, удивляясь не слишком —
Впечатленьями жизнь не бедна,—
Как свою пенсионную книжку
Сквозь окошко толкает она.

*Февраль 1963
Переделкино*

* * *

На главной площади страны,
невдалеке от Спасской башни,
под сенью каменной стены
лежит в могиле вождь вчерашний.

Над местом, где закопан он
без ритуалов и рыданий,
нет наклонившихся знамён
и нет скорбящих изваяний.

Ни обелиска, ни креста,
ни караульного солдата —
лишь только голая плита
и две решающие даты.

Да чья-то женская рука
с томящей нежностью и силой
два безымянные цветка
к его надгробью положила.

1964